

II.

ЭЛЕМЕНТАРНЫЯ ФОРМЫ ПОЭЗИИ.

Въ исторіи изученія поэзіи, какъ одного изъ проявленій духовной дѣятельности человѣка, наблюдается тоже, что и въ изученіи такъ называемой вѣнчаной природы. Сначала человѣчество въ лицѣ разныхъ учёныхъ, мыслителей набрасывалось на крупныя явленія, и только въ близкое къ намъ время стали удѣлять вниманіе изученію простѣйшихъ формъ органической жизни, микроорганизмовъ, играющихъ такую огромную роль въ общей жизни природы. Разложеніе сложныхъ явленій на простѣйшіе элементы, изученіе жизни клѣточки даетъ ключъ къ разгадкѣ и пониманію жизни сложныхъ организмовъ. Путь отъ простѣйшаго къ сложному обеспечилъ колоссальные успѣхи естествознанію. Тоже самое мы наблюдаемъ и въ области изученія явленій психологического характера, продуктъ духовнаго творчества человѣка. Сначала теоретики, изучавшіе поэзію, удѣляли исключительное вниманіе такимъ видамъ поэтическаго творчества, какъ драма, различные виды эпоса, лирики, и только въ послѣднее время наблюдается тенденція свести изученіе сложныхъ процессовъ поэтическаго творчества къ анализу простѣйшихъ движеній мысли при свѣтѣ языка, при участіи слова.

Въ общемъ это новое направленіе въ изученіи поэзіи представляется въ слѣдующемъ видѣ. Чтобы постигнуть сложные процессы поэтическаго творчества, дающаго въ результатѣ драмы, повѣсти, романы, пѣсню, сказку и т. п., чтобы уяснить себѣ, какъ живеть данное крупное произведеніе слова, какъ имъ пользуются люди (это—область литературной критики и читательскаго восприятія, пониманія), надо обратиться къ простѣйшимъ процессамъ рѣчи-мысли, къ моменту созданія нового, образнаго слова и пользованія имъ. Жизнь слова въ его значеніяхъ (*la vie des mots dans leurs significations*), составляя главную задачу той отрасли языкознанія, которую окрестили семазиологіей,—вотъ основа, канва, по которой должно пойти изученіе памятниковъ литературы, закрѣпленныхыхъ ли устнымъ преданіемъ, какъ это наблюдается въ такъ называемой народной поэзіи, или письменностью, печатнымъ станкомъ въ литературѣ нашего времени. Основное методологическое правило при этомъ можно формулировать такъ: надо изучать эти явленія на корню, въ моментъ созданія и пользованія ими, а не въ видѣ готовыхъ препаратовъ гербарія, безъ связи съ жизненной обстановкой, породившей ихъ, съ движениемъ мысли.

Съ этой точки зреянія вся область словеснаго творчества человѣка, языкъ и поэзія, литература, представляется огромной тканью, въ которой на основе языка, какъ коллективной „литературной“ дѣятельности чело-

бъка, съ его синтактическимъ строемъ и лексическимъ содержаниемъ, возникаютъ сложныя формы слова, вкрашенныя въ эту ткань, органически, неразрывно съ нею связанныя. Творчество миллиардовъ никому неизвѣстныхъ мыслящихъ и говорящихъ существъ, незамѣтно преобразующихъ, измѣняющихъ и совершенствующихъ эту ткань, подготавляетъ творчество отдѣльныхъ геніевъ, мастеровъ художественного слова, проникаетъ ихъ созданія, даетъ имъ силу и значеніе. Народъ, какъ особая колективная единица, думающій и говорящій на опредѣленномъ языкѣ, въ своемъ поступательномъ духовномъ развитіи, не ограничивается созданіемъ такихъ формъ поэзіи, какъ обычная народная пѣсня, сказка, побасенка, пословица, но въ лицѣ особыхъ избранниковъ, въ ихъ поэтическомъ творчествѣ высказываетъ себя болѣе сложными произведеніями словеснаго искусства. Область русской народной поэзіи не заканчивается пѣснями, былинами, сказками, записанными въ недавнее время извѣстными собирателями; въ нее входитъ цѣликомъ вся творческая дѣятельность Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Тургенева, Гончарова, Л. Толстого и другихъ русскихъ художниковъ слова. Русская народная поэзія превращается въ русскую національную поэзію. Языкъ, какъ вся совокупность пріемовъ *высказыванія*, такъ называемая *народная поэзія* въ узкомъ смыслѣ слова и противополагаемая ей *литература образованныхъ классовъ, поэзія, закрѣпленная письменностью*, съ этой точки зрѣнія, представляется единымъ органическимъ процессомъ народной жизни, однойстройной системой фактovъ языка, куда входитъ и крылатое мѣткое слово безымянного автора, ставшее ходячей монетой, и мѣткій поэтический образъ, со штемпелемъ такого-то мастера, отвѣчавшій запросамъ времени и ставшій данью вѣчности, сдѣлавшійся общимъ достояніемъ.

Исторія языка, исторія народной словесности и исторія литературы не должны составлять трехъ какихъ-то обособленныхъ, самодовѣрѣющихъ дисциплинъ, а должны слиться въ одну науку о національномъ художественномъ словѣ. Языкъ, народная поэзія безымянная и народная поэзія „именнная“ должны разсматриваться, какъ извѣстное единство проявленій человѣческаго духа, а единицей мѣры должны служить тѣ элементарные процессы, которые установило языкознаніе, дѣлая свои наблюденія надъ живымъ образнымъ, поэтическимъ словомъ. При такой постановкѣ вопроса, сами собой отпадутъ ложныя положенія, господствующія въ настоящее время. „Господство извѣстнаго мнѣнія, говорилъ когда-то Потебня, служить не доказательствомъ истинности его, по крайней мѣрѣ, не должно служить такимъ доказательствомъ; напротивъ, распространенность извѣстнаго мнѣнія есть указаніе на то, что оно достигло той мѣры, той степени, когда оно должно измѣниться“. Къ числу такихъ мнѣній относится установленвшееся понятіе о народной поэзіи, какъ поэзіи безыкусственной, противополагаемой поэзіи-искусству; мысль о томъ, что въ каждой поэтическомъ произведеніи есть какая-то основная идея, воплотившаяся въ данную форму (отголосокъ ученія Платона); представлѣніе о поэтическомъ процессѣ, какъ идеализациіи дѣйствительности, чего будто бы не наблюдалось въ прозѣ-наукѣ и т. п.

Нѣть нужды доказывать, что народная поэзія есть такое же подлинное искусство, какъ и творчество такихъ-то по имени поэтовъ.

Если мнѣніе о безыкусственности основывалось на безсознательности, то достаточно вспомнить о признаніяхъ извѣстныхъ поэтовъ, чтобы поколебать эту основу. Суть дѣла, очевидно, въ чёмъ-то другомъ. Въ ря-

дахъ организмовъ, рассматриваемыхъ въ извѣстной послѣдовательности, по направлению отъ болѣе простыхъ къ болѣе сложнымъ, увеличивается разница между организмомъ и средой (возьмите какую-нибудь инфузорію, живущую въ водѣ и какое-нибудь млекопитающееся, напримѣръ, бѣлаго медвѣдя), увеличивается и сила сопротивленія вліянію среды и различие между процессами, которые совершаются въ организмѣ, и тѣмъ, что совершаются въ окружающей средѣ (разница въ температурѣ и пр.). Можно думать, что и въ мірѣ человѣческихъ явлений, процессовъ психической жизни, есть рядъ ступеней развитія, состоянія мысли, которыя характеризуются все большей и большей самодѣятельностью лица, особи, т. е. все меньшей и меньшей степенью подражательности, обнаруживаемой однімъ лицомъ подъ вліяніемъ другого лица, среды, общества, все большими и большими различіемъ между своей и чужой мыслью, что сопровождается признаніемъ своей мысли чѣмъ-то субъективнымъ, личнымъ. Самодѣятельность въ данномъ случаѣ должна быть понимаема не какъ дѣятельность безъ всякаго внѣшняго толчка, но какъ дѣятельность, количество которой превосходитъ этотъ толчокъ. Подъ самодѣятельностью надо понимать здѣсь только всякое *качественное* различіе между дѣятельностью среды съ одной стороны, и воздействиемъ личности.

Существуетъ взглядъ, по которому народная поэзія, какъ гуртовое творчество, имѣть мѣсто тогда, когда поэтическая производительность отдельного лица такъ сходна съ такою же производительностью другихъ лицъ, говорящихъ на одномъ и томъ же языке, что само это лицо въ моментъ творчества не находить достаточныхъ оснований смотрѣть на свои продукты, какъ на свою исключительную собственность. И наоборотъ, отдельное лицо, при томъ же состояніи мысли, на произведенія другихъ лицъ смотрѣть не какъ на чужія, а какъ на свои собственные. Но такое, такъ сказать, до-литературное состояніе мысли только по степени отличается отъ позднѣйшаго, назовемъ его,—литературного. Вѣдь въ подобномъ состояніи находимся и мы каждый разъ, когда высказываемъ мысль, такъ сказать, носящуюся въ воздухѣ, мысль, которая въ одно и то же время наша и не наша. Въ исторіи русской художественной литературы можно указать много случаевъ, иллюстрирующихъ данное положеніе. Прекраснымъ примѣромъ можетъ служить пьеса Грибоѣдова. „Образованное общество, говоритъ Д. Н. Овсяннико-Куликовскій, давно знало Фамусовыхъ съ ихъ покладистостью, ихъ умственной темнотой, ихъ нравственной слѣпотой и всегдашней готовностью впадать въ свирѣпое мракобѣсіе, при всемъ ихъ московскомъ благодушіи; достаточно хорошо были извѣстны въ разныхъ кругахъ и карьеристы Молчалины и проходимцы Загорѣцкіе и т. п. Можно положительно утверждать, что въ этомъ смыслѣ Грибоѣдовъ не сказалъ обществу ничего совсѣмъ новаго... Взятые изъ живой дѣятельности (произведенія реального искусства), они говорять о томъ, что всѣ знаютъ; они являются только дальнѣйшимъ развитиемъ художественныхъ образовъ и художественно-моральныхъ сужденій, принадлежащихъ обществу или, по крайней мѣрѣ, его мыслящей части. Оттуда то интимное пониманіе со стороны публики, которое, въ большинствѣ случаевъ, такъ легко достается на долю этого рода произведеній“...

Когда мы чувствуемъ себя поднятыми или залитыми потокомъ жизни своего времени, то при нашемъ состояніи, при господствѣ письменности, литературы, такое чувство общности, солидарности быстро прекращается: всегда, какъ только мы точно формулируемъ свою мысль, она немедленно

получаетъ такой отпечатокъ, въ силу котораго она только отчасти можетъ быть равна общей. Но и въ настоящее время существуетъ и вѣ наиболѣе развитыхъ слояхъ общества творчество, подобное народной поэзіи. Совершеннѣйшій образецъ такого творчества—языкъ. Новые слова, обороты возникаютъ постоянно, между тѣмъ никто не можетъ указать опредѣленной личности, въ которой возникъ этотъ новый продуктъ слова. Языкъ показываетъ намъ, что и на высшихъ ступеняхъ развитія не прекращается такого рода массовое творчество. Говоря о прекращеніи народнаго коллективнаго творчества, мы разумѣемъ только прекращеніе производства такихъ сложныхъ его продуктовъ, какъ пѣсня, былина, сказка, и то съ извѣстной оговоркой: какъ архаической формы, онѣ не исчезли изъ обихода современного творчества, ими пользуются иногда и довольно удачно современные поэты. Въ особенности живуча въ этомъ отношеніи форма сказки-легенды, представляющая подчасъ незамѣнимыя удобства въ области сатиры, публицистической беллетристики, освѣщенія широкихъ соціальныхъ и философскихъ проблеммъ. Достаточно вспомнить сказки Щедрина, Л. Толстого, Амфитеатрова и проч.

Характернымъ признакомъ народной поэзіи считается большое постоянство вѣнчаной формы, въ частности размѣра, постоянство слога—въ смыслѣ пріемовъ, способовъ изображенія, въ частности повтореніе однихъ и тѣхъ же эпитетовъ, свидѣтельствующихъ не о свѣжести впечатлѣній, а скопрѣе обѣ отсутствіи этой свѣжести, отсутствіи личной метафоры, свѣжаго эпитета. И здѣсь разница между народной поэзіей и литературой лишь въ степени. Развѣ мы не наблюдаемъ извѣстнаго постоянства слога въ пріемахъ изображенія, характеристики, описанія природы, развѣ не чувствуемъ мы шаблона, манеры, являющейся болѣе или менѣе постоянной для цѣлой группы писателей художниковъ, для цѣлой литературной полосы? Погоня за свѣжимъ эпитетомъ часто не является достоинствомъ произведенія, отдаетъ какимъ-то манерничаньемъ.

Какъ живеть народно-поэтическое произведеніе? Жизнь такого произведенія, закрѣплленаго лишь живымъ словомъ, устнымъ преданіемъ, состоитъ въ томъ, что оно, при всемъ постоянствѣ формы, постоянно варируется. Всякое повтореніе его есть импровизація. Однѣ и тотъ же пѣвецъ, сказочникъ не въ состояніи повторить пѣсни, сказки дословно такъ, какъ онѣ ее пропѣль, сказалъ въ первый разъ, и варіанты пѣсни, сказки относятся между собой не какъ лучшее къ худшему, не какъ разныя редакціи рукописи, а какъ нечто *равноправное*, потому что подлиннаго текста нѣть: каждый пѣвецъ даетъ подлинный текстъ. Изучать пѣсню, сказку на корню—значить имѣть въ виду всю совокупность варіантовъ. Уменьшеніе количества варіантовъ можно разсматривать, какъ оскудѣніе жизни даннаго народно-поэтическаго образа или всей совокупности ихъ.

Полную аналогію мы, при доброй волѣ, найдемъ и въ жизни литературныхъ сюжетовъ нашего времени, закрѣпляемыхъ письменностью. Каждый варіантъ любого мірового сюжета или національнаго является подлиннымъ текстомъ такого-то по имени писателя, но отъ этого дѣло не мѣняется. Фаустіады, Гамлетіады, донъ-Кихоты, лишніе люди, въ послѣднее время Гуды, безконечная вереница цѣльныхъ натуръ, глядящихъ въ Наполеоны—вѣдь все это народныя, національныя, общечеловѣческія темы, живущія въ постоянно возникающихъ варіантахъ. Вся суть опять-таки въ степени признанія за этими варіантами того единства, какое представляютъ между собой варіанты народно-поэтическаго произведенія.

Ограничиваюсь сказаннымъ, мы можемъ отказаться отъ противоположенія поэзіи безыскусственной, т. е. народной поэзіи—поэзіи-искусству, художественной литературу. Это не значить, что между той и другой нѣть разницы въ нѣкоторыхъ особенностяхъ пользованія ими, зависящихъ отъ самой письменности, состоянія среды, уровня ея культуры. Характерно, напримѣръ, для этой среды отношеніе къ слову, какъ къ чему-то объективному, какъ къ дѣлу, на чемъ основано пользованіе извѣстными пѣснями только въ извѣстное время: свадебныя пѣсни поются только на свадьбахъ, любовныя пѣсни—только тѣми, кто чувствуетъ, переживаетъ любовь. Какъ на курьезъ, можно указать на то, что итальянка—на предложеніе профессора-этнографа спѣть ему пѣсню—посмотрѣла, какъ на предложеніе полюбить его. Для насъ содержаніе слова субъективно, но вѣдь большинство людей, стоящихъ выше той среды, гдѣ народная поэзія замѣняетъ литературу, держится того взгляда, что наши личныя чувственныя воспіятія имѣютъ объективное значеніе, наши личныя представленія суть сами предметы, явленія. Разница между этой итальянкой, смѣшивающей пѣснь о любви съ самой любовью, и literarisch-gebildeten Mensch, приписывающимъ свои ощущенія, воспіятія вѣнчаней природѣ, не такъ ужъ велика.

Органически спаянная съ языкомъ, народная поэзія въ своихъ сложныхъ произведеніяхъ, пѣснѣ, сказкѣ, исторической пѣснѣ, былинѣ непосредственно примыкаетъ къ литературно-художественной дѣятельности народа, общества, выражаящейся въ романѣ, повѣсти и т. п. Простѣйшія формы народной поэзіи—пословица, поговорка, примѣта, загадка приближаютъ насъ къ элементарнымъ формамъ поэзіи, наблюдаемымъ въ отдѣльныхъ словахъ. Письменность и по отношению къ языку и по отношению къ поэтическому литературному творчеству сыграла одну и ту же роль: она, между прочимъ, внесла извѣстного рода раздвоеніе мысли, ведущее къ сознанію, что между мыслью и ея выраженіемъ существуетъ несогласіе, что мысль можетъ быть ложно выражена. При состояніи мысли до-литературномъ, что *сказано*, то правда; откуда взглѣдъ на письмо, печать: всему написанному, напечатанному безусловно вѣрь. Письменность является одной изъ причинъ того, что человѣкъ легче, скорѣе доходитъ до сознанія своей субъективности. При этомъ образуется какъ бы два языка, два способа рѣчи: письменный и устный. На долю устной рѣчи выпали лишь простѣйшія, эмбріональные формы поэзіи, на долю письменной рѣчи—ея сложные произведенія. Такъ литература въ узкомъ смыслѣ слова отдѣлилась отъ языка, отъ живой устной рѣчи, пересыпаемой мѣткими образами, поэтическими сравненіями, остроумнымъ анекдотомъ, поэтическимъ разсказомъ-воспоминаніемъ. Но устное поэтическое творчество идетъ рука объ руку съ письменнымъ, совершаясь по однимъ и тѣмъ же законамъ, установленнымъ наукой о языкахъ.

Даже пресловутая безсознательность безымянного творчества не составляетъ исключительного удѣла народной поэзіи: съ одной стороны, въ цѣломъ рядъ приемовъ народно-пѣсенного творчества мы видимъ ясный умыселъ безымянного художника; а съ другой—цѣлый рядъ описаний моментовъ вдохновенія у Шиллера, Гете, Пушкина (Осень и др.) говорять намъ объ участіи подсознательной сферы въ процессѣ творчества, независимо отъ воли художника.

Наблюденія надъ языкомъ, съ одной стороны, признанія мастеровъ художественного слова, поэтовъ, съ другой—давно подорвали довѣріе къ априорнымъ построеннымъ эстетики и литературной критики, и на мѣсто древнихъ трехъ эстетическихъ китовъ—истины, красоты, блага, и близ-

кихъ къ намъ ко времени теорій подражанія, отраженія дѣйствительности, ставится вопросъ о цѣнности художественныхъ созданій въ экономіи мысли, о роли поэтическаго процесса въ движениі мысли, ея ростѣ, обѣ актахъ поэтическаго творчества, какъ актахъ самопознанія. Основныя положенія и весьма цѣнныя научный матеріалъ для установленія лингвистической теоріи литературы мы имѣемъ въ трудахъ А-дра Аѳан. Потебни [(Мысль и языкъ, Изъ лекцій по теоріи словесности. (Басня, пословица, поговорка), Изъ записокъ по теоріи словесности (Поэзія и проза. Троны и фигуры. Мышленіе поэтическое и миѳическое), Изъ записокъ по русской грамматикѣ, т.т. I—III и др.]. Задачей настоящаго очерка мы поставили изложеніе въ главнѣйшихъ чертахъ ученія А. А. Потебни обѣ элементарныхъ формахъ поэзіи и вмѣстѣ съ тѣмъ обѣ основныхъ свойствахъ поэзіи, какъ мышленія образами. Исходнымъ пунктомъ изслѣдованія А. А. Потебни обѣ общихъ свойствахъ поэтическаго процесса, наблюдаемаго и въ отдельномъ словѣ, выраженій и въ сложномъ поэтическомъ образѣ, является положеніе Вильгельма Гумбольдта: *поэзія и проза суть явленія языка*. Слово есть та элементарная форма, та клѣточка, изъ которой образуется ткань всякаго творчества, художественного и научного, представляющаго лишь усложненіе, расширение того, что мы наблюдаемъ въ простѣйшихъ актахъ рѣчи.

Въ общемъ видѣ процессъ этого усложненія рисуется приблизительно такъ. Дѣятельность человѣка, по характеру и результатамъ ея проявленія, можно раздѣлить на двѣ большія области: съ одной стороны, человѣкъ, какъ существо мыслящее, осложняетъ свою психическую жизнь *созданиемъ слова*, этого могучаго и незамѣнного средства „думать о своихъ думахъ“, *орудія преобразованія* своей мысли, самого себя, своего внутренняго „я“; съ другой—человѣкъ, какъ существо, активно реагирующее на вѣнѣній міръ, осложняетъ свое отношеніе къ этой вѣнѣній средѣ *изобрѣтеніемъ орудія* производства вещей путемъ разрушенія явленій вѣнѣнія міра (растеній, животныхъ), т. е. созданіемъ новаго могучаго средства преобразованія, измѣненія вещей, вѣнѣнія міра. Существо мыслящее и говорящее вооружается *словомъ*, существо мыслящее и реагирующее на вѣнѣнію среду, въ силу закона самосохраненія, вооружается вѣнѣніемъ *орудіемъ*. Эволюція человѣка, какъ существа, избрѣтающаго орудія, представляется въ видѣ постояннаго измѣненія орудій производства: измѣненіе руки палкой для нанесенія удара, превращеніе этой палки въ прашу, нужное для того же дѣйствія на большомъ разстоянії, создание все новыхъ и новыхъ орудій такимъ путемъ, что одно орудіе является средствомъ преобразованія другого вплоть до послѣдняго слова техники—парового молота, всевозможнаго рода двигателей и другихъ машинъ въ цѣляхъ разрушенія данныхъ вещей и созданія новыхъ цѣнностей—все это можно назвать практической дѣятельностью человѣка. Полную аналогию этому процессу мы находимъ во внутренней работѣ человѣка надъ самимъ собой при помощи слова. Если вычесть изъ наличнаго состава мысли человѣка все то, что не дано непосредственными чувственными воспріятіями, какъ напримѣръ, привычныя для насъ понятія о вещи и ея качествѣ, дѣйствія, причинѣ, слѣдствіи и т. п., не свойственные животному, то въ мысли останутся лишь извѣстныя связи впечатлѣній, объединенные чувственными воспріятіями и кажущіяся болѣе или менѣе постоянными нерасчлененными комплексы зрительныхъ, слуховыхъ, мускульно-двигательныхъ и т. п. представлений о такихъ-то растеніяхъ, животныхъ, предметахъ окружающей обстановки, а затѣмъ масса несвязныхъ впечатлѣній, настроений, созда-

ваемыхъ внутренними процессами организма, работой внутреннихъ и внѣшнихъ органовъ чувствъ. Таково въ общихъ чертахъ состояніе сознанія, таковъ конкретный фактъ жизни духа до слова. Человѣкъ создаетъ слово, и при помощи его какъ бы вновь узнаетъ то, что уже было въ его сознаніи, разлагаетъ движеніе мысли на отдѣльные акты, сужденія, дѣлаетъ ихъ какъ бы объектами своего сознанія, творить міръ изъ хаоса впечатлѣній, классифицируетъ, распредѣляетъ по общимъ категоріямъ вещи, качества, дѣйствія и т. п. Хаотическая мысль преобразуется въ стройную систему причинъ, дѣйствій, объясненій новыхъ явлений по установленвшимся формуламъ: камню, дереву приписывается свойство мыслить, дѣйствовать, обладать желаніями, волей. Нагляднымъ примѣромъ можетъ служить любое предложеніе типа: „деревцо ожило“, „ручей бѣжитъ“ и т. п. По типу „я и мое дѣйствіе“ преобразуются всѣ впечатлѣнія о внѣшнемъ мірѣ путемъ сравненія прежде познанного со вновь познаваемымъ. Внутренний міръ человѣка преобразуется, измѣняется и постоянно увеличиваются силы для расширения предѣловъ этого создаваемаго при помощи слова міра. Потребность въ „названіи“ и слѣдовательно въ объясненіи нового, неяснаго удовлетворяется путемъ возникновенія все новыхъ и новыхъ словъ, выражений, словесныхъ формулъ, позволяющихъ мысли все быстрѣе и быстрѣе катиться по проложеннымъ словомъ колеямъ. Создается своеобразная вѣра въ силу слова, которое также становится чѣмъ-то въ родѣ орудія производства вещей и явлений. Таковы, напримѣръ, заговоры, заклинанія, нѣкоторыя пѣсни. Возбуждая въ другихъ аналогичную работу мысли, вызывая въ воображении определенные представленія о вещахъ и явленіяхъ, возбуждая чувства радости, гнѣва, слово отождествляется съ дѣломъ въ заговорѣ, заклинаніи. Миѳъ, въ смыслѣ миѳическихъ представленій, какъ разновидность поэтическаго процесса мысли, наблюдаемаго въ языкахъ, характеренъ для раннихъ ступеней развитія мысли и слова. На почвѣ этихъ миѳическихъ представленій создается примитивная наука, объясненіе явлений природы и жизни человѣка, возникаетъ миѳология въ смыслѣ миѳовъ—сказаний, легендъ, т. е. сложныхъ миѳическихъ (не поэтическихъ) образовъ. Здѣсь изслѣдователь слова можетъ прослѣдить, какъ создается теорія, какъ создается представленіе о мірѣ, какъ измѣняются взгляды человѣка на такъ называемую дѣйствительность, и вмѣстѣ съ этимъ показать, какъ увеличиваются умственные силы человѣка, какъ развивается его теоретическая дѣятельность, какъ мысль человѣческая ведеть свое хозяйство, совершенствуя все болѣе и болѣе орудія, средства производства, теоріи, науки, переходя отъ миѳа къ поэзіи. Въ этомъ процессѣ поэтическая мысль, поэтический образъ играетъ особенно важную роль уже на раннихъ ступеняхъ развитія человѣка. А когда мысль освобождается отъ пріемовъ миѳического мышленія, поэзія занимаетъ исключительное, господствующее положеніе.

Мы не знаемъ досконально слова первобытнаго человѣка; мы знаемъ слова, системы языковъ живыхъ и мертвыхъ, языковъ развитыхъ и стоящихъ на низкихъ ступеняхъ развитія. Здѣсь доступно нашему наблюденію слѣдующее общее явленіе. Сравнительно съ огромной областью понятій, сужденій, требующихъ выраженія, запасъ словъ, понимаемыхъ въ смыслѣ звуковыхъ комплексовъ, очень невеликъ, въ чемъ можно легко убѣдиться, взявши словарь любого европейскаго языка, гдѣ при огромномъ количествѣ словъ приводятся разнообразныя значенія ихъ. Наблюденія надъ живой рѣчью показываютъ, что слово въ рѣчи соответствуетъ каж-

дый разъ, въ моментъ пользованія имъ, одному акту мысли, а не нѣсколькимъ, т. е. каждый разъ, когда говорится или понимается, оно имѣть не болѣе одного значенія для говорящаго или для слушающаго и понимающаго. Эти наблюденія надъ отдѣльными актами рѣчи, пониманія, приводятъ настъ къ заключенію, что звуковые комплексы остаются *относительно* неизмѣнными (разница въ произношениі, тонѣ будеть чувствоваться), а значение отличается большой измѣнчивостью, большой подвижностью. Вотъ примѣръ, взятый на удачу изъ словаря: *Духъ* бодръ, а плоть немощна. Присутствіе духа необходимо. *Духъ* законовъ. *Духъ* противорѣчія. Въ духѣ того времени. Собраться съ духомъ. Не въ духѣ. Нечистый, злой духъ. Перевести духъ некогда. Тяжелый духъ поднимался изъ кучи. Ни слуху, ни духу. Быть на духу и т. п.

Въ словарѣ вся эта груша словъ, отмѣченныхъ курсивомъ, заносится подъ рубрику *духъ*, такъ какъ считается, что тутъ мы имѣемъ дѣло съ переходомъ слова „духъ“ отъ одного значенія, собственного, къ другому, не собственному. Иногда дѣлаются отступленія отъ этого обычая. Такъ, въ академическомъ словарѣ отъ слова *жила* (кости и *жилы*, есть въ немъ молодецкая *жила*, вымотать *жилы*, *жилы* металловъ, *жила* забила ключемъ въ колодцѣ и проч.) отдѣлено слово *жила*—скряга, охотникъ присвоить чужое. На самомъ дѣлѣ, мы въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ измѣненія значенія слова должны видѣть образованіе *новаго слова*, лишь однозвучнаго съ другимъ, извѣстнымъ намъ словомъ: *подошка* (обувь), *подошка* (ступни), *подошка* (горы), *подошка* (кусокъ плотной кожи), сюда же сильно измѣнившаяся *почва* (=подъшва) и т. п. Эта процессъ образования *новыхъ* словъ совершается въ языкѣ постоянно, непрерывно. То, что происходит въ моментъ образования всякаго такого нового слова, представляется въ общемъ видѣ такт: сочетанію единства звуковъ и значенія, напр., *подошка* (ступни) соотвѣтствуетъ актъ мысли, психологический процессъ, предполагающій два мысленныхъ комплекса: *познаваемое*, требующее объясненія, названія, (извѣстная часть ступни) назовемъ его *искомое*—Х и *прежде познанное*, извѣстное, объясняющее, названное уже, т. е. связанное съ опредѣленнымъ комплексомъ звуковъ (*подошка* обувь),—назовемъ его А. Изъ значенія старого слова (*подошка* обувь) въ новое слово перешла лишь незначительная часть, одинъ какой-нибудь признакъ, допустимъ, *твердость* кожи или *положеніе* этой части обуви; и этотъ признакъ можно назвать *знакомъ* значенія нового слова. Въ усилияхъ выразить, назвать неизвѣстное, неназванное еще, мысль хватается за первый, захватившій поле сознанія признакъ, усматривая въ немъ нѣчто общее между двумя сравниваемыми комплексами воспріятій. Это общее между двумя мысленными единицами указываетъ путь, какимъ образомъ мысль представляетъ себѣ новое, требующее объясненія. Въ языкоznаніи этому объединяющему, связывающему два мысленныхъ комплекса признаку дали название *представленіе*: онъ есть, по мѣткому выражению А. А. Потебни, представитель въ текущихъ дѣлахъ мысли. Это представленіе составляетъ непрѣмѣнную стихію, постоянный элементъ всякаго возникающаго, нового слова, всякаго шага мысли впередъ, сопровождаемаго извѣстнымъ *волненіемъ*, *желаніемъ* уяснить себѣ новое, связать его съ прежнимъ запасомъ познанного. Являясь *показателемъ* означающаго, объясняющаго, а не означаемаго, будучи взято изъ совокупности признаковъ А, представленіе, назовемъ его *a*, есть продуктъ анализа ($A = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ и т. д.), отвлеченія. Роль этого отвлеченія очевидна: вмѣсто того,

чтобы загромождать поле сознания двумя сравниваемыми комплексами, весьма сложными, мысль ограничивается этим представлением. При словѣ *подошва* горы въ моментъ возникновенія этого *новаго* слова, сдѣлавша-гося теперь уже старымъ, изъ всего образа стоящаго человѣка мысль занималъ лишь одинъ признакъ. Такимъ путемъ въ языкѣ достигается огромная экономія мысли, тратя силу уменьшается, сила мысли увеличивается.

Когда не наблюдается такъ называемаго перехода отъ собственнаго значенія къ несобственному, отдѣльный актъ рѣчи представляется въ слѣдующемъ видѣ: то, что я вижу (положимъ, дерево съ опредѣленной формы листвой и т. д.) или слышу (лай), вызываетъ въ моей мысли то, что я видѣть, слышать раньше и назвать *липой, собакой*. Познаваемое, новое воспріятіе тоже по одному, двумъ признакамъ, предполагающимъ наличность другихъ признаковъ, называется готовымъ для этой совокупности признаковъ словомъ *липа, собака*. Процессъ сравненія новаго воспріятія и старого протекаетъ безъ того напряженія мысли, исканія, которое наблюдалось въ первомъ случаѣ. Новое представление спокойно занимаетъ мѣсто въ ряду прежнихъ, происходитъ почти безсознательно процессъ названія чего-то знакомаго, быстро опознанного.

И въ томъ и въ другомъ случаѣ, если разсматривать ихъ, какъ два случая психологического сужденія, какъ видно изъ предыдущаго, въ основѣ лежитъ сравненіе, сопровождаемое анализомъ двухъ сравниваемыхъ мысленныхъ единицъ, причемъ во второмъ случаѣ слово является какъ-бы посредникомъ между новымъ воспріятіемъ, требующимъ названія, и рядомъ прежнихъ воспріятій, представлений, изъ которыхъ въ сознаніе можетъ войти лишь одно, какъ типичный представитель всѣхъ другихъ: при взгляде на дерево, съ сердцевидными листьями, я вспоминаю лицу, видѣнную мнѣ недавно, или нарисованные листья липы и т. п.

И въ томъ и въ другомъ случаѣ только одно „ближайшее значеніе“ составляетъ дѣйствительное содержаніе мысли въ моментъ произнесенія слова, т. е. когда я говорю, я хочу назвать то, чему въ мысли слушающаго указывается моимъ словомъ мѣсто въ ряду его мысленныхъ комплексовъ. Ни въ говорящемъ, ни въ слушающемъ въ моментъ *рѣчи и пониманія* нѣть полноты содержанія, не мыслится весь образъ, все понятіе (весь рядъ представлений, его образовавшихъ), а есть только указаніе, опредѣленіе мѣста, гдѣ искать искомой полноты воспроизведенія этого образа, ряда представлений, образующихъ понятіе,—опредѣленіе, достаточное для того, чтобы не смѣшать искомаго съ другимъ. Назвавши извѣстную часть горы *подошвой*, мысль достигаетъ этой цѣли, опредѣлять мѣсто для всѣхъ остальныхъ признаковъ горы, которые въ данный моментъ не мыслятся во всей полнотѣ, сначала, благодаря *представлению*, знаку значенія. Здѣсь наблюдается основной принципъ образныхъ словъ—часть *вместо цѣлаго*. Когда слово обветшаетъ отъ частаго употребленія, и мы пользуемся терминомъ *подошва горы* также, какъ словами *липа, собака*, то здѣсь, при актѣ названія новаго воспріятія, наблюдается также лишь указаніе мѣста для конкретнаго образа уже безъ *представления*. Здѣсь „единство звуковъ“, этотъ „звуковой знакъ значенія“, какъ его можно назвать въ отличіе отъ „мысленного знака значенія“, т. е. представлениія, является замѣстителемъ, представителемъ сложной мысленной единицы, ряда конкретныхъ представлений, образующихъ понятіе. Это будетъ, если угодно, новое отвлеченіе: живая мысль замѣняется почти комплексомъ звуковъ, и мысль орудуетъ словами, не размѣнивая ихъ на конкретное содержаніе.

Тутъ сказывается другой принципъ теоріи слова, наблюдаемый постоянно въ языке: *одно вмѣсто другого* по смежности во времени, въ пространствѣ: „третью пасху йть“=„третью весну переживалъ“, или „весь домъ всполошился“=„всѣ жильцы всполошились“. Въ самомъ дѣлѣ, всякое слово *безъ представлениія*, т. е. употребляемое въ такъ называемомъ собственномъ значеніи, является сочетаніемъ звуковъ и значенія по одновременности, послѣдовательности во времени. При быстротѣ мысли звуковые комплексы принимаются за самое значеніе, т. е. происходит психологический процессъ, называемый въ стилистикѣ *метониміей* (о чёмъ ниже). Весь языкъ, вся совокупность знаменательныхъ словъ представляеть въ этомъ смыслѣ одну сплошную метонимію. Быстро думая и говоря, мы обходимся словами, не обременяя себя сложнымъ содержаніемъ мыслимыхъ понятій, представлений, заботясь лишь о томъ, чтобы слова были дѣйствительными, точными замѣстителями этихъ понятій. Алгебраическая, химическая формулы можно считать третьей инстанціей отвлечения, идеализацией, возникшей благодаря письменности и дающей возможность при помощи „малыхъ знаковъ“, безъ словъ ворочать огромными обобщеніями. Но отвлечение, достигаемое указаннымъ путемъ, не есть конечная цѣль человѣческаго мышленія, а лишь подмостки, лѣса, средства, при помощи которыхъ мысль снова возвращается къ конкретному, образному мышленію.

Таковы въ самыхъ общихъ чертахъ процессы мысли—рѣчи, наблюдаемые въ языке. Въ ряду этихъ процессовъ настъ занимаютъ въ данномъ случаѣ моменты образованія *новыхъ* словъ, съ живымъ *представлениемъ*, т. е. словъ *образныхъ*, въ которыхъ слѣдуетъ видѣть элементарные формы поэзии, какъ мышленія образами. Изученію ихъ отводилось особое мѣсто въ изслѣдованіяхъ по теоріи поэзии; въ нихъ видѣли лишь особыя формы стиля, которыми и занималась такъ называемая стилистика.

При этомъ дѣялось строгое разграничение между образными словами, метафорами въ языке и въ стилѣ сложныхъ произведеній словесности.

Наблюденія надъ простѣйшими формами поэзии и прозы въ языке, весьма цѣнныя для насъ и теперь, мы встрѣчаемъ уже въ глубокой древности. За 2000 лѣтъ до нашего времени Аристотель, производя свои наблюденія въ области ассоціацій мысли въ словѣ, насчитывалъ до 40 случаевъ такъ называемыхъ *троповъ* и схемъ, *фигуръ*. Съ тѣхъ поръ его ученіе, захваченное схоластикой, искаженное и опощленное близкайшими къ намъ по времени стилистиками и риториками, остается неподвижнымъ, если не считать относящихся сюда опытовъ его переработки античныхъ риторовъ, грамматиковъ и современныхъ изслѣдователей языка.

Присматриваясь къ ткани языка, древніе изслѣдователи различали рѣчь неукрашенную, простую, и рѣчь украшенную, на которой главнымъ образомъ и сосредоточили свое вниманіе, т. е. на стилѣ индивидуального словеснаго творчества. Въ этой украшенной рѣчи они видѣли систему оборотовъ слова и мысли, такъ называемыхъ *троповъ*, съ ясно выраженнымъ переходомъ слова отъ одного значенія, собственного, по ихъ определенію, къ другому, несобственному, для усиленія впечатлѣнія (см. *virtute*). Рѣчь простая считалась господствующею, а тропъ—измѣненіемъ обычного способа говорить ради ясности и необходимости. Этотъ, якобы необычный способъ говорить, по наблюдению самихъ древнихъ, проявлялся не только въ языке ученыхъ поэтовъ, знающихъ толькъ въ тропахъ и фигурахъ, и риторовъ, умѣющихъ украшать свою рѣчь для усиленія впечатлѣнія, но и въ рѣчи необразован-

ныхъ, малосмысленныхъ людей, прибѣгавшихъ къ тѣмъ же тропамъ, по нуждѣ и необходимости.

Мало того, перенесеніе слова отъ собственного значенія, *перваго*, къ несобственному признавалось уже древними однимъ изъ средствъ образования языка, его обогащенія (*translatio copiam sermonis auget*).

Современное языкоznаніе заставляетъ насъ устранить понятіе объ украшениіи рѣчи, какъ причинѣ возникновенія троповъ, словъ съ переноснымъ значеніемъ, къ чemu приводили уже и наблюденія древнихъ, или, по крайней мѣрѣ, сократить область примѣненія его и расширить понятіе о *необходимости* замѣченного уже древними процесса мысли и слова, являющагося главнымъ факторомъ образованія языка. Современныи изслѣдователь языка, останавливая свое вниманіе на тѣхъ же собственныхъ и несобственныхъ значеніяхъ и интересуясь не сочетаніемъ лишь словъ, а сочетаніемъ слова и мысли, видѣть предъ собою тѣ же двѣ группы словъ, изъ которыхъ одни значать нѣчто неизвѣстнымъ для насъ способомъ, наприм. *дубъ, липа, береза, ясень, берестъ* и т. п. Если спросить говорящаго, почему *липу* не называютъ *березой* и наоборотъ, то мы получимъ отвѣтъ: „не знаю, такъ все говорять“. Что касается другого многочисленнаго разряда словъ, то здѣсь вопросъ, почему данная вещь или явленіе называется такимъ-то словомъ, находить себѣ отвѣтъ. Чтобы определить основное свойство такихъ словъ, нужно присмотрѣться къ тому, каковъ этотъ отвѣтъ, т. е. войти въ заброшенную область ученія древнихъ о тропахъ.

Другими словами, по отношенію къ слову возможны два вопроса: *что* оно значить, и *какъ* оно значить. Въ связи съ этимъ и отношеніе говорящаго и слушающаго къ словамъ двоякое: въ однихъ случаяхъ онъ не сознаетъ ничего, кромѣ звуковъ, связанныхъ съ извѣстнымъ значеніемъ, замѣняющихъ въ рѣчи представлениія, самая связь для него неизвѣстна, т. е. неизвѣстно, *какъ* произошло название явленія, *какъ* образовалось значеніе данного слова; въ другихъ случаяхъ, онъ сознаетъ, чувствуетъ не только, *что* значить, но и *какъ* установилась эта связь звукового комплекса съ комплексомъ мысленнымъ.

По традиції, по преданію, слова: *домъ, ногъ, дорога* становятся для насъ знаками, замѣстителями конкретныхъ состояній сознанія въ толь моментъ, когда мы думаемъ словами, говоримъ про себя; по традиції мы восстановляемъ постоянно эту ткань языка, не отражая въ ней всей нашей мысли. Слушающій, воспринимая лишь это замѣщеніе мысли, живое слово, читатель, воспроизводя про себя звуковыя и двигательныя представлениія словъ, по традиції вызываются въ себѣ привычные движения мысли. При этомъ, въ однихъ случаяхъ, мысль испытываетъ состояніе относительного покоя, когда звуки примыкаютъ прямо къ значенію, когда *дерево* называется *деревомъ, вода*—водой; но бываютъ случаи, когда внутренніе процессы мысли задѣваются наше сознаніе, доходить до него, свидѣтельствуя о нѣкоторой работе, движеніи, безпокойствѣ, когда мы сознаемъ ихъ, чувствуемъ ихъ отраженіе въ процессѣ рѣчи, когда мы говоримъ: „увяла жизнь“, „отцвѣль талантъ“. Мы замѣчаемъ нѣкоторое осложненіе процесса рѣчи-мысли, мы чувствуемъ, сознаемъ, что данный актъ слова-мысли предполагаетъ сравненіе, связь двухъ мысленныхъ комплексовъ, что слово, замѣщавшее извѣстный мысленный рядъ представлений, обозначавшее понятіе (*увялъ цвѣтокъ*), получило новое примененіе, благодаря анализу этого „увялъ“, въ цѣляхъ обозначенія чего-то

иного (замираніє жизни), не имѣвшаго традиціоннаго названія, готоваго слова.

Мы создаемъ это новое слово, правда, тоже подъ вліяніемъ традиціи, привычки, данной въ языкѣ (пользоваться, напр., образами растенія и связанныхъ съ нимъ явленій для обозначенія явленій человѣческой жизни), мы пользуемся энергией старыхъ словъ, съ такъ называемымъ собственнымъ значеніемъ, въ цѣляхъ усвоенія новыхъ воспріятій.

Эти новые слова постоянно возникаютъ изъ основной ткани языка, ассимилируя, подчиняя нашей мысли результаты нашихъ усилий въ созданіи нашего міровоззрѣнія, его видоизмѣненія, преобразованія. Присматриваясь къ нимъ, мы различаемъ въ нихъ не два элемента (звуки и значение), а три: 1) звуковой образъ, виѣшній знакъ, 2) новое значение и 3) связь между новымъ и старымъ значеніемъ, представлениe. Когда мы говоримъ, напр., „дерево жизни“, то здѣсь слово „дерево“ по отношению къ новому значенію является не только виѣшнімъ знакомъ (звуковымъ образомъ), замѣстителемъ нового комплекса воспріятій посредствомъ звуковъ, но и посредствомъ выдѣленія *представлениa*, какой-нибудь черты изъ прежняго значенія (ростъ, развитіе), на которой сосредоточено наше вниманіе. При дальнѣйшемъ пользованіи этими новыми словами, вниманіе все меньше и меньше задерживается на этой чертѣ (представлениe), и мы снова сознаемъ лишь слово, звуковой образъ, замѣщающій значение. Такъ, при словѣ *защита* мы не вспоминаемъ о той чертѣ, о томъ представлении, которое взято изъ образа человѣка со щитомъ.

Изучая словарь болѣе или менѣе богатаго языка, мы видимъ огромное количество словъ, возникшее изъ небольшого числа корней. Если допустимъ, что эти корни были, по терминологіи древнихъ, собственными выраженіями, то всѣ остальные были, значитъ, несобственными; при этомъ отношение послѣднихъ къ первымъ будетъ таково, какъ 1000 : 1; но есть основаніе думать, что то, что является корнемъ относительно своихъ производныхъ, было въ свою очередь несобственнымъ словомъ: это было слово съ тѣми же тремя элементами, которые мы и теперь наблюдаемъ въ словахъ съ яснымъ происхожденіемъ (этимологіей), гдѣ на лицо всѣ три элемента вновь возникающаго слова. Однимъ словомъ, если разматривать слова со стороны ихъ прошедшаго, то всѣ значения въ языкѣ переносныя, всѣ слова образныя. Отступить отъ этого нельзѧ.

Уже въ простомъ сочетаніи звуковъ и значенія, какъ было уже указано, можно видѣть тотъ процессъ, который мы наблюдаемъ въ категоріи троповъ, названной древними *метониміей*: комплексъ воспріятій замѣняется звуковымъ образомъ. Для мысли это большое сбереженіе. Если теперь представимъ то безконечное количество Х—овъ, воспріятій, ихъ сочетаній, на которое мы должны реагировать сознаніемъ, которая подлежать нашему познанію, а съ другой стороны ограниченное количество средствъ ихъ выраженія, замѣщенія, то мы убѣдимся во-очію, какая трудная передъ человѣкомъ стояла задача: выразить безконечное путемъ ограниченного количества словъ. Это могло быть сдѣлано только путемъ *иноскананія*, наблюдавшаго нами въ простѣйшихъ формахъ поэзіи, образныхъ словахъ, тропахъ. Съ этой точки зрѣнія весь языкъ иносканатель, и человѣкъ, при решеніи этой задачи, не могъ обойтись безъ троповъ и фигуръ. Всѣ результаты человѣческой мысли, можно сказать, обязаны тропу и фигурамъ, и въ этомъ смыслѣ, языкъ есть средство преобразованія мысли.

Для правильной постановки вопроса о тропахъ и фигурахъ, необходимо

димо имѣть въ виду слѣдующія, пока непоколебленныя положенія языко-
знанія.

Общій ходъ человѣческой мысли состоять въ объясненіи вновь по-
знаваемаго, подлежащаго нашему познанію, прежде познаннымъ и на-
званнымъ уже, своего рода *сказуемымъ*. Мысль человѣческая такимъ
образомъ бываетъ парными ударами, и эта парность наблюдается и въ эле-
ментарныхъ процессахъ мысли-слова, отдельныхъ словахъ и предложе-
ніяхъ, и въ сложныхъ ея построеніяхъ. Затѣмъ, слово прежде всего имѣть
значеніе *для себя* (для говорящаго, думающаго), а потомъ *для другихъ*
(слушающихъ, понимающихъ). Оно есть средство преобразовывать свою
мысль, объективировать, дѣлать ее предметомъ наблюденія, изученія, и въ
этомъ только смыслѣ оно является средствомъ создавать мысль новую. То,
что обыкновенно называютъ борьбой съ выраженіемъ, съ этой точки зре-
нія, есть не борьба, а стремленіе къ этому преобразованію, болѣе ясному
для себя выраженію, за которымъ наступаетъ относительный покой мысли.
Это—муки родовъ, дающія вмѣстѣ съ тѣмъ и радость творчества.

Усилиями отдельныхъ индивидуумовъ, творящихъ для себя, думаю-
щихъ и объективирующихъ мысль въ словѣ, создаются языки, эти свое-
образныя системы преобразованія мысли, причемъ каждый языкъ даетъ
свое особое, новое направлѣніе мысли. Наиболѣе рѣзко выражается это
тамъ, где наблюдается образное, поэтическое мышленіе, где создаются
новыя слова, однимъ словомъ, где широкое примѣненіе получаетъ тропъ,
поэтическій образъ, это незамѣнное, неизбѣжное средство проложить мысли
путь впередъ. Процессъ созданія нового слова, преобразованія мысли, свя-
занной съ даннымъ словомъ, мы наблюдаемъ и тамъ, где образному,
поэтическому мышленію, повидимому, совершенно нѣть места. Такъ,
отвѣчая на вопросъ, что такое нація, Ренанъ въ самой существенной
части своего отвѣта вынужденъ быть прибѣгнуть къ образу, взятому
изъ сельскохозяйственныхъ наблюдений—скрещиванію животныхъ для улуч-
шенія породы.

Оставляя пока въ сторонѣ унаследованное отъ древнихъ дѣленіе
основныхъ пріемовъ образнаго мышленія—троповъ, необходимо предпо-
слать слѣдующее основное дѣленіе этихъ пріемовъ, находящихся въ извѣст-
ной исторической преемственности.

Когда современный культурный человѣкъ пользуется традиціонными
выраженіями: „солнце садится“, „напала лихорадка“, „семейство растеній“,
образность этихъ выраженій для него почти не существуетъ, съ ними онъ
связываетъ научное, прозаическое пониманіе; когда онъ пользуется поэти-
ческимъ образомъ, какъ средствомъ для нового построенія, преобразованія
мысли, онъ обязанъ этимъ извѣстной степени своей способности къ *ана-
лизу* и *критикѣ*. Въ стихахъ: „Ночь пролетала надъ міромъ, сны на
людей навѣвая“ онъ отдѣлить выраженіе отъ явленія. Пониманіе любого
образнаго стихотворенія можетъ выразиться въ прозѣ, отвлеченіи, добытомъ
путемъ анализа поэтическаго образа, путемъ критики.

Когда эта способность къ анализу, критикѣ слабо развита, когда
преобладаетъ склонность мысли къ синтетическимъ сужденіямъ типа „конь
—воронъ“, „солнце—колесо“, когда мысль ползаетъ на четверенькахъ:
образъ, служащій сказуемымъ (воронъ, колесо), не разлагается, и соче-
таніе его съ подлежащимъ (солнце, конь) принимаетъ особый характеръ,
и мы наблюдаемъ особую словесную форму, которую можно назвать эле-
ментарной формой *миѳа*.

Съ этой точки зре́ния, всякое образное выражение допускает двоякое понимание: а) или образъ вполнѣ иносказательенъ, т. е. изъ черть, составляющихъ его, мы ничего не переносимъ въ значеніе, сохраняя въ сознаніи лишь извѣстное отношение *образа* (A) къ *значенію* (X), объясняющаго къ объясняемому, извѣстный минимумъ, такъ называемое *представление* (a). Такъ, выраженіе „горячее сердце“ мы понимаемъ такъ же, какъ „пламенный характеръ“, представляя себѣ это чувство (X) яркостью, теплотою (a) огня (A); в) или мы наблюдаемъ перенесеніе нѣсколькихъ или всѣхъ черть образа въ значеніе, которое не совпадаетъ съ образомъ, т. е. пониманіе слова „сердце“ въ былинномъ выражениі „горячее сердце“ или „въ немъ сердце разгоралось“ въ смыслѣ какого-то вещества, которое заключаетъ въ себѣ горючность въ физическомъ смыслѣ, и притомъ горючность въ высокой степени. Въ первомъ случаѣ мысль держится на высотѣ аналогіи, сравненія, не допуская смышенія разнородныхъ представлений; во второмъ, она спускается до отождествленія этихъ разнородностей, до такъ называемаго буквального пониманія такихъ выражений, какъ „лихорадка напала“ и т. п. Первый способъ или пріемъ мысли мы называемъ поэтическимъ, и каждое образное выражение будетъ актомъ поэтическаго творчества; второй—миѳическимъ, болѣе древнимъ по отношению къ поэтическому. Образная выраженія древности, вродѣ указанныхъ нами, могутъ оставаться и въ позднѣйшее время, мы ими пользуемся, какъ пользуемся и сложными построеніями, вродѣ миѳовъ о Прометеѣ, Церерѣ, но пониманіе ихъ, отношение образа къ значенію радикально измѣняется. Такъ, выраженіе „горячее сердце“ въ 1547 году понималось буквально всѣми, начиная отъ царя Иоанна Грознаго, патріарха, бояръ до простого народа *миѳически*, а не *поэтически*, судя по тому, какъ объяснялся пожаръ въ Москвѣ: княгиня Глинская, со всѣми дѣтьми и людьми, сердца человѣческія (горючія!) вымали и чародѣйствомъ Москву попалили. Настой „горючихъ сердецъ“ былъ сильнымъ воспламеняющимъ средствомъ въ глазахъ людей миѳического типа мысленія.

Итакъ, образное мышленіе въ словѣ представляетъ два вида, важные въ историческомъ отношеніи: а) мышленіе миѳическое, когда образъ переносится *implicite* въ значеніе (солнце—колесо, значитъ въ немъ есть спицы, ось, другое колесо, кузовъ, кони и возничій) и в) мышленіе поэтическое, когда образное выражение является гораздо иносказательнѣе, обладаетъ большей силой преобразованія мысли, и такое перенесеніе черть образа въ значеніе отсутствуетъ. Отношеніе миѳического и поэтическаго мышленія таково, что по времени первое предшествуетъ второму, первое есть разновидность второго.

Насъ интересуетъ здѣсь миѳъ, не какъ одна изъ формъ словесныхъ выражений, сложныхъ произведеній, предшествующихъ выраженіямъ графическимъ, живописнымъ и скульптурнымъ, а какъ явленіе мысли-слова, которое необходимо имѣть въ виду при выясненіи отношеній между образомъ и значеніемъ. Другими словами, мы различаемъ миѳическія представления, миѳические процессы, наблюдаваемые въ языкахъ, отъ сложныхъ миѳовъ въ сказкахъ, космогоническихъ легендахъ, сказанияхъ, возникающихъ, несомнѣнно, подъ влияниемъ означеныхъ миѳическихъ представлений, данныхъ въ языкахъ. Эти отношенія могутъ казаться неизмѣнными, данными сразу, если мы не будемъ считаться съ этимъ явленіемъ, если мы будемъ разматривать сочетаніе образа и значенія отвлеченно, независимо отъ того, каковъ возможенъ въ каждомъ отдельномъ случаѣ про-

цесъ пониманія, миѳический или поэтический, на какой ступени своего разви-
тия стояла мысль, прибѣгая къ образу для объясненія явленія.

Далѣе, при миѳическомъ мышлении, аналогія превращалась въ отож-
дествление двухъ сравниваемыхъ единицъ мысли, и отсюда возникала та
причудливая, съ нашей точки зреінія, цѣль научныхъ по-своему объясне-
ній явленій природы и жизни человѣка, которую мы находимъ въ по-
вѣрьяхъ, народной космогоніи, народной медицинѣ и т. п. Эта своеобраз-
ная проза-наука, возникавшая на почвѣ миѳического мышлѣнія, пред-
шествовала, въ свою очередь, современной прозѣ-наукѣ, возникшей на почвѣ
поэтическаго мышлѣнія и продолжающей развиваться рядомъ съ поэзіей.

Итакъ, рядомъ съ противоположеніемъ образнаго (поэтическаго) и
безобразнаго (прозаического) мышлѣнія нужно поставить и другое дѣленіе
образнаго мышлѣнія—на миѳическое и поэтическое, находящіяся въ исто-
рической преемственности.

Обратимся теперь къ главной задачѣ очерка, къ элементарнымъ фор-
мамъ поэзіи, тропамъ. Всякій тропъ, какъ мы уже сказали, предполагаетъ
двѣ вещи: нѣчто искомое, X, и нѣчто данное, A, прежде существовавшее
въ мысли. Разсматривая въ частности отношеніе этого A къ искомому X,
мы можемъ приблизительно различить слѣдующіе три случая:

I. Случай образца: „человѣкъ“ предполагаетъ, а Богъ располагаетъ“:—
образъ есть *единица*—лицо, человѣкъ, а значеніе—*множество*, общее
понятіе—всякій человѣкъ, люди. Содержаніе A (человѣкъ) со всѣми своими
признаками заключено въ X (люди), или наоборотъ, X обнимаетъ все A
безъ остатка. Въ этомъ X, если мы его представимъ себѣ, было бы одно-
временно съ представлениемъ заключено и A. Это—ассоціація по одновре-
менности: часть вмѣсто цѣлаго: Представляя громаднѣйшее удобство для
мысли тѣмъ, что безконечный рядъ замѣщается однимъ изъ его членовъ,
этотъ пріемъ выраженія (единичное для обозначенія рода), названный
древними *синекдохой*, во многихъ случаяхъ, какъ и въ приведенномъ
образцѣ, столь обычень, что перестать быть поэтическимъ. Быстрота, съ
какой мысль переходить отъ данного въ рѣчи недѣлимаго къ значенію
рода, такъ велика, что намъ нужно сдѣлать усиліе, чтобы возстановить
поэтичность мысли въ такихъ выраженіяхъ: *богатый*, что быкъ рогатый,
ловить рыбу и т. п. Мы прямо принимаемъ за выраженіе общаго то,
что есть выраженіе еданицы. Эта привычка мысли съ особенной яркостью
сказывается въ сложныхъ формахъ синекдохи, о которыхъ рѣчь впереди.

II. Значеніе A, прежде данное, заключается въ X, новомъ значеніи,
лишь отчасти. Случай образца: „Лѣсь поетъ“. Если при этомъ разумѣются
птицы, то нельзя сказать, чтобы въ искомомъ X—*птицы* заключено
значеніе лѣса. Чтобы дойти отъ значенія лѣса до значенія *птицы*, надо
нѣсколько подумать, найти такой случай, когда бываетъ между ними сов-
паденіе (весною, лѣтомъ при восходѣ солнца); должно пройти нѣкоторое
время между моментомъ A *лѣсь* и моментомъ X *птицы*—нѣкоторый про-
межутокъ. Слѣдовательно, эта ассоціація основана на послѣдовательности
восприятій—древніе называли ее *метониміей*. Въ отличіе отъ синекдохи
при переходѣ мысли отъ A къ X, это искомое приобрѣтаетъ нѣкоторое
новое качество, которое можетъ получиться лишь въ силу того, что оно
(птицы поющія), при извѣстныхъ условіяхъ, сопровождаетъ въ мысли образъ
A (лѣсь). Эти условія заключаются въ привычкѣ мысли къ извѣстнымъ,
определеннымъ ассоціаціямъ представлений. Символы любви въ народной
поэзіи „сорочку прать“, „примять траву“ являются метониміями, только

благодаря обычнымъ сочетаніямъ въ мысли извѣстнаго ряда представлений въ опредѣленномъ кругу жизни. Метонимія, напр., „стоять въ головахъ“ въ отличие отъ синекдохи „столько-то головъ скота“ вносить въ значеніе X (стоять близко) новое качество, новый признакъ—пространственное отношение, которое не дано въ понятіи „голова“.

III. Ассоціація между A и X—еще болѣе отдаленная. Случай образца „подошва горы“. Разница между сравниваемыми понятіями (подошва обуви и нижняя часть горы) на первый взглядъ полна: оба понятія не совпадаютъ ни въ одномъ признакѣ, они исключаютъ другъ друга. Но „подошва обуви“ (A) такъ относится къ „стоящему обутому человѣку“ (B), какъ „подножіе горы“ (искомое, требующее названія—X) относится ко всей „горѣ“ (B). Это можно изобразить формулой: A : B = X : B. Сходство между „подошвой обуви“ (A) и „подножіемъ горы“ (X) заключено въ томъ, что отношение подножія (X) къ „горѣ“ (B) сходно съ отношеніемъ, „подошвы“ (A) и стоящаго въ обуви человѣка (B). По такому же типу мы говоримъ о *рукавѣ* рѣки, о *капризахъ* зимы, объ *улыбкѣ* ясной природы, объ *утрѣ* года: цѣлый день такъ относится къ утру, какъ цѣлый годъ относится къ чѣму?

Этотъ видъ ассоціаціи называютъ ассоціаціей по сходству, по аналогіи.

Если изобразить всѣ три случая графически, то *синекдоха* можетъ быть представлена въ видѣ двухъ вписанныхъ другъ въ друга круговъ; *метонимія*—въ видѣ пересѣкающихся круговъ, а *метафора*—въ видѣ двухъ круговъ, не соприкасающихся другъ съ другомъ. Другими словами, если рассматривать эти три случая въ послѣдовательномъ порядке, то мы увидимъ, что степень близости, связи между A (образомъ) и X (значеніемъ) все болѣе и болѣе уменьшается по направлению къ третьему слушаю. Но по мѣрѣ уменьшенія связи, увеличивается промежутокъ времеви, нужный для того, чтобы дойти отъ образа (A) до значения (X), и это послѣднее, т. е. значение, добывается все труднѣе и труднѣе.

Дѣление видовъ поэтической иносказательности въ отдельныхъ словаряхъ и въ сложныхъ произведеніяхъ по способу перехода отъ A къ X есть сильное отвлеченіе. Въ дѣйствительности отдельные случаи не такъ прости, чтобы ихъ можно было легко подвести къ первой, второй или третьей категоріи. Въ конкретныхъ случаяхъ, въ особенности въ сложныхъ поэтическихъ произведеніяхъ, могутъ совмѣщаться всѣ три вида троповъ въ зависимости отъ направленія мысли, даваемаго контекстомъ рѣчи. Такъ, въ стихотвореніи Лермонтова „Парусъ“ мы имѣемъ несомнѣнную синекдоху „блѣсть парусъ одинокій“ (часть вм. цѣлаго), но при дальнѣйшемъ движеніи мысль можетъ перейти на метонимію (*парусъ одинокій*—*одинокій пловецъ*), а все стихотвореніе въ цѣломъ настраиваетъ мысль понимать метафорически эту „одинокій парусъ“ среди бушующаго моря житейскаго. Метафора въ концѣ концовъ покрываетъ метонимію, которой предшествуетъ синекдоха. Метафорическое пониманіе всего стихотворенія „Парусъ“ переходить легко въ сложную синекдоху—*parus pro toto*, когда все стихотвореніе представляется мысли, какъ изображеніе единичнаго случая, вызывающаго безконечный рядъ подобныхъ моментовъ, положеній, настроеній. Такимъ образомъ, различие между синекдохой, метониміей и метафорой не есть различие неизмѣнное, разъ навсегда данное, но нѣчто движущееся. Внесли такое замѣчаніе, мы, не уничтожая границъ между намѣченными тремя видами иносказательности, распаталяемъ ихъ, отчего задача изученія значительно усложнится, такъ какъ надо имѣть дѣло съ явленіемъ движущимся,

измѣняющимся. И другого пути и не можетъ быть, если изслѣдоватъ явленія языка не въ отвлеченнѣ видѣ, а въ дѣйствительной жизни. Но во всякомъ случаѣ приведенные выше соображенія обѣ отношеніи образа и значенія должны лежать въ основѣ дѣлѣнія всякихъ поэтическихъ произведеній, простыхъ и сложныхъ.

Основное правило, что въ моментъ пользованія готовыи словомъ мы наблюдаемъ лишь наличность ближайшаго значенія, одинъ актъ рѣчи, одно пониманіе, остается въ силѣ и здѣсь; но одно пониманіе можетъ болѣе или менѣе быстро смѣняться другимъ, и мысль можетъ переходить отъ одного состоянія къ другому. При этомъ нужно еще имѣть въ виду, на какой ступени образнаго мышленія, миѳической или поэтической, стоитъ лицо говорящее или понимающее.

Результаты высказыванія и пониманія будутъ различны въ смыслѣ связи образа и значенія. Такъ, при анализѣ народно-поэтическихъ произведеній, напр. такъ называемыхъ, обрядовыхъ пѣсень или сказокъ, если мы желаемъ выяснить, что могло значить такое произведеніе для той среды, въ которой оно возникло, мы должны имѣть въ виду миѳическое настроеніе мысли, при которомъ образъ цѣлкомъ переносится въ значеніе, будьтъ совпадать съ нимъ; при которомъ горючее сердце, напр., будьтъ заключать въ себѣ всѣ признаки горѣнія. И это будетъ тогда *синекдоха*, такъ какъ эпитетъ выдѣляетъ въ данномъ случаѣ одинъ признакъ изъ многихъ. При нашемъ состояніи мысли, не миѳическомъ, а поэтическомъ настроеніи—это будетъ *метафора*, такъ какъ мысль держится на высотѣ сравненія.

Держась намѣченныхъ трехъ категорій образности, остановимся теперь на каждой изъ нихъ въ отдѣльности болѣе подробно въ томъ порядке, который былъ нами намѣченъ выше, т. е. начиная съ синекдохи. Въ старинныхъ риторикахъ переводили этотъ терминъ—*соподразумѣваніе, совѣлюченіе, сопряженіе*.

Въ основѣ синекдохи лежитъ заключеніе по количеству, отъ части къ цѣлому. При ней наблюдается такой переходъ отъ образа (A) къ значенію (X), при которомъ въ значеніи, т. е. въ *искомой* совокупности признаковъ дано воспріятіемъ или же мысленно одновременно A, но такимъ образомъ, что это A выдѣляется изъ ряда признаковъ X: адриатическая волны—Адриатическое море, морская глубина—море; къ чужимъ далекимъ берегамъ—чужой странѣ; милыхъ лицъ не нахожу—милыхъ людей; просить на чашку чаю—угощеніе вообще (если отвлечься отъ другого способа обозначенія, скрытаго здѣсь, именно *метонимиї*: чашка вм. чай, содержащее вмѣсто содержимаго); откусывать хлѣба-соли—пообѣдать и т. п.

Во всѣхъ этихъ случаяхъ мысль останавливается на части предмета обозначаемаго; изъ ряда признаковъ, составляющихъ содержаніе понятій: *море, страна, люди, угощеніе, обѣдъ*, названо то, что, по разнымъ обстоятельствамъ, бросается въ глаза, прежде всего входить въ сознаніе: волны, берега, лица, чашка чаю, хлѣбъ-соли. Другими словами *море, страна* и пр. названы по одному какому-нибудь признаку, отъ котораго, какъ отъ символа, мысль переходитъ къ совокупности другихъ признаковъ (цвѣтъ моря, его ширь и глубина, запахъ соленої влаги и пр.)... *Синекдоха* поэтому уже можетъ быть названа постояннымъ языко-образовательнымъ.

процессомъ, такъ какъ этиологія, т. е. происхожденіе, образованіе любого слова предполагаетъ всегда названіе предмета, качества, дѣйствія по какому-нибудь одному признаку: *кожанъ*—летучая мышь, имѣющая кожистыя крылья, *медвѣдь*—зверь, *кѣдящій медъ*, *конка*—желѣзная дорога съ конной тягой, *дятель* предполагаетъ *зубы* (прксл. *датель*—*dens*), *зубастый*; *ужъ*—давящій, какъ боа—конструкторъ (ср. *узы*, *узилище*, мѣсто заключенія); *полозъ*—змѣя ползущая; *трясина*—болото тряское и т. п. Во всѣхъ этихъ случаяхъ, надо думать, мысль шла не отъ общаго представленія *трясости*, *зубатости* и т. п. къ частному „*трясному болоту*“ и пр. Признакъ *A* (*трясость*) былъ въ самомъ воспріятіи X (*болота*), въ моментъ наименования мыслился въ предѣлахъ только искомаго, требующаго названія (X) и по отношенію къ нему былъ *частнымъ*. Если въ такихъ случаяхъ, какъ *кожанъ*, *трясина* можно видѣть синекдоху, то рядомъ съ ними слѣдуетъ поставить синекдохи въ такихъ парныхъ сочетаніяхъ, какъ *цвѣтокъ—бодякъ* (*бодающій*), змѣй—*полозъ* (*ползущій*), болото—*трясина* (которое ходенемъ ходить), мышь (муж. р., Орлов. губ.)—*кожанъ* и т. п. Здѣсь *бодякъ*, *полозъ* и пр. являются атрибутивными существительными, которыя могли вытѣснить свои опредѣляемыя (*цвѣтокъ*, *змѣй* и пр.). Мѣсто такихъ атрибутивныхъ существительныхъ могутъ занимать прилагательныя: *конная* дорога, *трясучее* болото и т. п. Вытѣсненіе эпитетомъ опредѣляемаго можетъ дать такія существительныя, какъ: *столовая*, *борзая*, *нищій*, *ученый*. Если оставаться при обычномъ пониманіи эпитета, какъ приложенія опредѣлительного прилагательного къ существительному, то въ эпитетѣ мы прежде всего имѣемъ право усмотрѣть пріемъ мысли, названной нами синекдохой. Выраженія, *косматый* левъ, *трясучее* болото и т. п. могутъ быть замѣнены такими оборотами рѣчи: левъ, съ косматой гривой на хребтѣ; болото, подернутое сросшимися кочками, образующими подвижную, волнующуюся тряскую поверхность. Эпитеты „*косматый*“, „*трясучий*“ здѣсь замѣнены перифразисомъ (особая фигура), который можетъ разростись въ цѣлое описание.

Эпитетъ (а равно и перифразисъ, описание, замѣняющія его) въ такомъ смыслѣ, т. е., какъ фигура (схема) рѣчи, состоящая въ выдѣленіи опредѣленного признака изъ комплекса признаковъ опредѣляемаго, синекдохичень, есть своего рода *pars pro toto*; но онъ не исключаетъ такихъ процессовъ мысли, какъ метонимія, метафора. Въ такихъ случаяхъ, какъ *бумажный* змѣй, *конная* дорога, мы имѣемъ синекдоху (одинъ признакъ выдѣленъ изъ совокупности другихъ, какъ часть вмѣсто цѣлаго); въ случаяхъ „*блѣдная смерть*“, „*постоялый дворъ*“ въ эпитетѣ дана метонимія (смерть вызываетъ ужасъ, выражаяющійся въ *блѣдности*; во дворѣ бываютъ *постояльцы*); въ случаяхъ „*туманный взоръ*“, „*купучая дѣятельность*“ эпитеты метафоричны, предполагаютъ сравненіе разнородныхъ понятій, переходъ мысли по аналогіи, по сходству. Эпитетъ, слѣдовательно, не можетъ быть названъ троюмъ, эпитетъ есть схема рѣчи, фигура, которая въ концѣ концовъ синекдохична во всѣхъ трехъ приведенныхъ случаяхъ: въ примѣрахъ „*блѣдная смерть*“, „*туманный взоръ*“ синекдоха покрываетъ метонимію и метафору, такъ какъ конечный результатъ мысли все-таки есть выдѣленіе признака A изъ ряда признаковъ искомаго, обозначаемаго (X).

Въ виду особой важности этого пріема рѣчи, необходимо остановиться наѣсколько подробнѣе на эпитетѣ, какъ фигура, схема. Подъ эпитетомъ

обыкновенно разумѣютъ прилагательное въ сочетаніи съ существительнымъ; но такой взглядъ не совсѣмъ правилѣнъ: такъ какъ категорія прилагательного не первообразна и предполагаетъ возникновеніе его изъ существительного („конь вороной“ изъ „конь воронъ“), то всякое атрибутивное существительное должно быть тоже отнесено къ разряду эпитетовъ: сердце кремень, бой-баба, мальчикъ огонь, сынъ первенецъ и пр.

Съ точки зрѣнія, болѣе общей, чѣмъ грамматическое согласованіе, соблюдаемое въ парныхъ атрибутивныхъ сочетаніяхъ опредѣляемаго и опредѣленія, мы можемъ усмотрѣть наличность эпитета во всякомъ парномъ сочетаніи словъ, обозначающихъ вещи, качество, дѣйствія ихъ, признаки дѣйствія. Такимъ образомъ сюда, къ эпитетамъ, придется отнести, кромѣ такихъ сочетаній, какъ трава мурава, мальчикъ сирота, дѣло дрянь, и сочетаніе двухъ прилагательныхъ „ясна-красна“, „тихій скромный“, сочетаніе двухъ глаголовъ: „не покорился—не поклонился“, „изстрадался-измаялся“, двухъ нарѣчій „ужасно много“, „довольно глупо“, „вчернѣ наскоро“. Если выраженіе „парная сочетанія“ понимать въ томъ смыслѣ, что можно дѣлить на двѣ части не только сочетаніе опредѣляемаго съ опредѣленіемъ, но и цѣлыхъ выраженія, въ которыхъ наблюдается *совокупленіе* (т. е. синекдоха), то рядомъ съ приложеніями образца: „учитель, наставникъ жизни“,—„со мною мечь, моя защита“ или „Евгений, отступникъ бурныхъ наслажденій“—следуетъ поставить обороты, родственные по схемѣ: а) „вошелъ поэтъ, съ кудрями черными до плечъ“, „домъ, съ мезониномъ въ три окошка“,—„музыкъ, съ засученными рукавами“; б) „въ полдень, въ самую жару“,—„у калитки, въ тѣни ракиты“,—„восторженно, въ самыхъ лестныхъ выраженіяхъ“ и т. п. А далѣе мѣсто этихъ оборотовъ могутъ занять цѣлыхъ предложения или цѣлое сочетаніе приложеній, образующихъ, какъ мы уже указывали, перифразъ, описание: жаль мнѣ труда, молчаливаго спутника ночи, друга авроры златой, друга пенатовъ святыхъ“;—„А вы, красавицы ночные, которыхъ позднею порой уносятъ дрожки легковыя по петербургской мостовой“... „Ты знаешь край, где все обильемъ дышеть, где рѣки лютятся чище серебра, где вѣтерокъ степной ковыль колышеть, въ вишневыхъ рощахъ тонуть хутора, среди садовъ деревья гнутся долу, и до земли виситъ ихъ плодъ тяжелый, шумя, тростникъ надъ озеромъ трепещеть, и чистъ, и тихъ, и ясень сводъ небесъ, косарь поеть, коса звенить и блещеть, вдоль берега стоитъ кудрявый лѣсь, и къ облакамъ, клубясь надъ водою, бѣжитъ дымокъ синѣющей струею“? Вся первая часть стихотворенія Лермонтова—„Когда волнуется желтѣющая нива“ представляетъ такой же примѣръ сложнаго перифраза къ слову *тогда* (смиряется душа моей тревоги).

Такимъ образомъ съ точки зрѣнія не грамматической, а стилистической, всякое сложное описание, имѣющее цѣлью наполнить живымъ содержаніемъ простое обозначеніе характера лица, обстановки его жизни, мѣста или времени, можетъ быть разсмотриваемо, какъ усложненіе элементарной фигуры эпитета, причемъ и здѣсь, какъ и въ настоящихъ эпитетахъ „голубое небо“, „вороной конь“, предполагающихъ метафору, т. е. сравненіе двухъ разнородныхъ понятій (голубь—небо), въ конечномъ результатаѣ мы будемъ имѣть синекдоху.

Возвращаясь къ эпитету, въ грамматическомъ смыслѣ этого слова, образца „печальные поля“, нельзя не замѣтить, что унаследованное отъ древнихъ дѣленіе эпитетовъ на необходимые и украшающіе можно удер-

жать, устранивъ лишь эти не совсѣмъ удобныя выраженія, какъ это мы сдѣлали раньше по отношенію къ тропамъ. Ненужный эпитетъ—дурной эпитетъ, хотя бы онъ и имѣлъ цѣлью украсить рѣчь. Термины: „необходимый“ и „украшающій“ необходимо замѣнить терминами: „прозаический“ и „поэтический“.

Когда мысль исходить отъ частнаго къ общему и не имѣть цѣлью устраненіе изъ мысли видовъ, не заключающихъ въ себѣ признака, указанного эпитетомъ, а замѣщаетъ посредствомъ опредѣленного образа сравнительно неопредѣленное общее понятіе, то мы имѣемъ на лицо *эпитетъ поэтический*. Въ примѣрѣ: „изъ подъ куста мнѣ ландышъ серебристый“ взять одинъ моментъ изъ жизни растенія (цвѣтеніе) и, слѣдовательно, помимо метафоры (сравненіе съ серебромъ) здѣсь ближайшее мѣсто въ мысли занимаетъ синекдоха. Эпитетъ „серебристый“ не противополагаетъ растенія другимъ видамъ „несеребристымъ“, не имѣть цѣлью исключить какіе-то другіе виды ландыша. Всѣ такъ называемые постоянные эпитеты слѣдуетъ отнести къ этой же группѣ поэтическихъ эпитетовъ: *синее море, борзый конь, сырая земля, чистое поле* и т. п.

Когда мысль исходить отъ общаго понятія, и эпитетъ производить въ сферѣ этого общаго понятія логическое дѣленіе, исключая изъ мысли виды, не заключающіе въ себѣ признака, указанного эпитетомъ, то мы будемъ имѣть *эпитетъ прозаический*: Великая и Малая Россія, деревья хвойныя и лиственныя и т. п.

Поэтические эпитеты, въ свою очередь, можно раздѣлить на двѣ группы. Это дѣленіе до нѣкоторой степени совпадаетъ съ дѣленіемъ всей области поэзіи на два обширныхъ отдѣла, по степени зависимости отъ преданія, традиціи: на поэзію народную (устную) и поэзію образованныхъ классовъ (письменную). Мы отмѣтили выше, какъ характерную черту устной поэзіи, *постоянство слога*, выражающееся въ относительной неподвижности стилистическихъ пріемовъ, оборотовъ рѣчи. А. А. Потебня усматривалъ здѣсь два типа эпитетовъ: апостеріорные и априорные.

Когда эпитетъ прилагается къ опредѣляемому въ силу нового *наблюденія*, личнаго, индивидуальнаго, когда онъ добывается, а не получается въ готовомъ видѣ, то это будетъ эпитетъ *a posteriori*: *уединенные поля*—здѣсь метонимія (уединяется нѣкто, пребывающій въ поляхъ), скрытая подъ синекдохой эпитета; *сумрачная дуброва, тихій ручей* и т. п.

Когда эпитетъ прилагается къ опредѣляемому, не на основаніи нового, свѣжаго восприятія, личнаго наблюденія, и въ силу преданія, традиціи, когда онъ является *прежде добытымъ*, то это будетъ эпитетъ *a priori*, или такъ называемый *постоянный эпитетъ*: *добрый конь, красная девица, родимый батюшка* и т. п.

Во многихъ случаяхъ онъ можетъ совпадать съ апостеріорнымъ: *желтое золото, бѣлые лебеди*. И только постоянное его употребленіе въ извѣстной области поэзіи указываетъ на его априорность. Но есть случаи, когда эта априорность оказывается яснѣ, когда эпитетъ согласуется съ этимологическимъ значеніемъ опредѣляемаго, тавтологиченъ ему: *крутой берегъ, лютый звѣрь, молодая молодица*. Здѣсь само опредѣляемое подсказываетъ, навязываетъ мысли извѣстный эпитетъ: *ребята (малыши) малые, старики старые* и т. д.

Берегъ по своему значенію родственno нѣмецкому Berg, и потому сочетанія „горы крутыя“ и „берега крутые“ почти тождественны. Въ современной письменной поэзіи можно также наблюдать нѣчто въ родѣ

априорности эпитета, возникающей въ силу невольной подражательности, манерности, у много пишущихъ: *желтыми* туманами, *свинцовыми* тучами; *смъючимся* моремъ и т. п. сочетаниями невольно подсказывается мысль объ априорности этихъ эпитетовъ, объ отсутствіи свѣжести впечатлѣнія, когда встрѣчаешь ихъ часто у одного и того же писателя или у цѣлой группы. Но все таки это будутъ личные эпитеты, характерные для стиля даннаго лица.

Въ народной поэзіи есть частный случай употребленія априорнаго эпитета такого рода: онъ настолько срастается со своимъ опредѣляемымъ, что употребляется нерѣдко и тамъ, гдѣ; съ точки зреія прозаической мысли, онъ просто нелѣпъ. Такъ, палачъ и узникъ въ сербской пѣснѣ одинаково употребляютъ выраженіе „проклятая темница“, что въ устахъ первого не естественно. Несторъ днемъ подымаетъ руки къ звѣздному небу и т. п. Подобная же власть традиціи оказывается у Гоголя: мѣсяцъ стоять посреди неба, а лѣса бросили *длинную тѣнь*.

Подведя итоги сказанному о поэтическому эпитету, мы замѣтимъ еще разъ, что здѣсь мы имѣемъ дѣло съ явленіемъ языка, сходнымъ съ процессомъ мысли, наблюдаемымъ въ *синекдохѣ*—образца: адріатическая *волны*—море, т. е. отъ части къ цѣлому, отъ одного признака къ совокупности признаковъ. При этомъ синекдоха въ эпитетѣ покрываетъ другіе троны: метонимію и метафору: *печальные поля* (метонимія), бей въ *железнѣ сердца* (метафора). Графически эпитетъ синекдоха изображается двумя концентрическими кругами: менѣшій будетъ соотвѣтствовать эпитету, болѣшій—опредѣляемому. Въ случаѣ „муравьище кипучее“ мы можемъ отвлечься отъ сравненія съ кипящимъ горшкомъ и остановиться на частномъ признакѣ, бросающемся въ глаза, выдѣляющемся изъ всей совокупности признаковъ муравейника. Это *pars pro toto*—отъ одного признака къ цѣлому ряду признаковъ.

Въ связи съ эпитетомъ, какъ было уже сказано, находится перафразисъ, описание, не передаваемое словомъ *обинякъ*, т. е. рѣчь околицею, такъ какъ поэтическая перифраза, чтобы достигнуть поэтической изобразительности, должна не обходить образъ околицеї, а выставлять его наиболѣе характерныя черты. Такимъ образомъ поэтическому эпитету при опредѣляемомъ соотвѣтствуетъ болѣе сложная форма, состоящая въ томъ, что при названномъ мѣстѣ, времени и т. п. вообще, въ общемъ видѣ, ставится характеристическая частность. Это общее можно графически изобразить въ видѣ большого круга, напр. „Лѣтней порою“, а слѣдующее за нимъ частное въ видѣ малаго круга, включеннаго въ большоій: „когда прозрачно и свѣтло ночное небо надъ Невою, и водь веселое стекло не отражаетъ лицъ Діаны“. Терминъ „совключеніе“, даваемый въ старинныхъ риторикахъ этому прѣму, тождественъ синекдохѣ, и по существу это есть сложная синекдоха.

Переходя къ другимъ случаямъ синекдохи, можно остановиться на случаѣ „часть вмѣсто цѣлаго“, „однородное множество представлено единственнымъ числомъ“. Часть предмета бросается въ глаза, и отъ нея, какъ отъ символа мысль переходитъ къ совокупности другихъ признаковъ—„Бѣлѣть парусъ одинокій“. Точка зреія далекая даетъ намъ возможность замѣтить только этотъ признакъ. Здѣсь можетъ быть часть вмѣсто цѣлаго—синекдоха (хозяйскій глазъ, убить пріятельской рукой, добыть языкъ—плѣнить непріятеля съ опредѣленной цѣлью развѣдки) или орудіе вмѣсто дѣйствователя—метонимія: *копье вмѣсто воинъ*, столько-то *штыковъ*, *сабель*—пѣхоты, *кавалеріи*.

Множество изображается единственнымъ числомъ: а) Имени конкретнаго: „И рабъ судьбу благословилъ, зато въ углу своеемъ надулся его расчетливый сосѣдъ“. Привалила птица къ круту берегу. Рыба идеть въ устье рѣки. б) Имени собирательнаго: Скотина на ярмаркѣ ни почемъ. Дерева навалило уйму. Во многихъ случаяхъ синекдоха близко подходить къ метонимі, и близость эта такова, что синекдоху можно считать видомъ по отношенію къ метонимі, какъ къ болѣе общему пріему. Въ самомъ дѣлѣ, при извѣстной точкѣ зрѣнія „воинъ съ его оружиемъ“, „рыцарь съ его лошадью“ представляютъ одно цѣлое и сказать „столько-то коней, столько-то лошадей“ участвовало въ битвѣ значить употребить синекдоху; при строгомъ различеніи, расчлененіи образа „Бѣгѣть парусъ одинокій“—чистая синекдоха окажется метониміей, какъ и „Всѣ флаги будуть въ гости къ намъ“—не корабли, а купцы разныхъ государствъ.

Разсматривая три случая символики въ языке по степени связи образа со значеніемъ и останавливаясь на случаѣ наибольшей связи—синекдохѣ (совоспѣтіи, совѣлюченіи), мы наблюдаемъ во всѣхъ явленіяхъ этого рода путь отъ частнаго къ общему, отъ индивидуального къ цѣлому роду, отъ опредѣленнаго къ неопредѣленному, единичнаго къ множественному. Частные случаи простой и сложной синекдохи будутъ при этомъ очень разнообразны. Сюда, напримѣръ, можетъ быть отнесенъ такой случай: одна книга (для понимающаго, слушающаго) опредѣляетъ характеръ всего чтенія: „читаль охотно Апулея, а Цицерона не читалъ“. Если понимать произведенія вообще, то здѣсь „Апулей“, „Цицеронъ“ самая настоящая метонимія—имя автора вмѣсто произведеній его. Но метонимія покрывается здѣсь синекдохой, если понимающему прежде всего приходить на мысль „Золотой оселъ“ Апулея, опредѣляющей весь кругъ чтенія извѣстнаго содержанія книгъ. И въ данномъ случаѣ близкайшее значеніе (книги нѣсколько игриваго содержанія) достигается синекдохическимъ путемъ. Это можетъ быть разсматриваемо, какъ особая фигура синекдохи, которой даютъ названія въ стилистикѣ аллюзія, намекъ, ссылка на прежде извѣстное, о чёмъ будетъ рѣчь ниже.

Когда мысль переходитъ отъ опредѣленнаго количества къ неопределенному, [наблюдается синекдохический процессъ въ огромномъ количествѣ выражений для понятій: много, мало, нѣсколько: а) хоть прудъ пруди, мосты мостить, (много); некуда изъ тучи каплѣ капнуть (людно); тьма тьмущая, некуда мачинѣ упасть, пальцемъ не проткнешь (густо) и т. п. б) какъ котъ наплакаль (мало), хватить шиломъ борщу, ни въ зубъ толкнуть; пропасть ни за цапову душу (ничтожная цѣна); ничего: ни грона, ни пылинки, ни шерстинки, ни перьянки, ані дрібка соли и т. п. в) сто разъ, тысячу разъ тебѣ говорилъ и т. п.]

Во всѣхъ этихъ случаяхъ мы имѣемъ особую, такъ сказать, фигуру синекдохи, форму этого тропа, называемую въ стилистикахъ гиперболой, куда входитъ преувеличеніе и „преумноженіе“. Кромѣ этого, и здѣсь наблюдается тоже, что въ случаѣ: „я читаль охотно Апулея“, т. е. что синекдоха покрываетъ собой либо метонимію, либо метафору. Такъ, въ примѣрѣ мало—„какъ котъ наплакаль“—предварительная форма мысли метафорична, на что указываетъ синтаксической признакъ сравненія какъ; въ примѣрѣ „куры не клюютъ“ скрывается метонимія (дѣйствіемъ или состояніемъ обозначается обиліе, большой запасъ чего-нибудь).

Количество случаевъ перехода отъ единичнаго ко множеству образца „человѣкъ“ предполагаетъ, а Богъ располагаетъ“, какъ мы уже говорили,

огромно. Быстрота, съ какой мысль въ силу традиціи языка, переходить отъ даннаго въ рѣчи недѣлимаго (непріятель, турокъ) къ значенію множества (непріятели, турки) такъ велика, что нужно сдѣлать нѣкоторое теоретическое усиленіе, чтобы возстановить въ мысли поэтическій процессъ, т. е. синекдоху; для насть это бываетъ также трудно, какъ трудно намъ наблюдать въ своей рѣчи мореологическая измѣненія словъ въ рѣчи, формы склоненія, спряженія, падежи, лица, согласованіе въ родѣ, числѣ, лицѣ и т. п.

Какъ давно стала чувствоватьсь эта тождественность простѣйшей, сдѣлавшейся почти прозаической, формы синекдохи, данной въ языкѣ, съ сложнымъ поэтическимъ образомъ, заставляющимъ насть отъ конкретнаго случая заключать къ общему, видно изъ извѣстнаго выраженія Гете: es giebt eine poesie ohne tropen—есть поэзія безъ троповъ. Какъ понимать это выраженіе? Лучше всего обратиться къ какому-нибудь частному случаю. Такъ, въ лирикѣ русскихъ поэтовъ мы найдемъ множество примѣровъ описаній, аналогичныхъ съ пейзажемъ, ландшафтомъ въ живописи. Особенно хороши въ этомъ отношеніи овѣянныя тонкимъ эфиромъ мысли, по выражению Аксакова, стихотворенія Тютчева. Особенность этихъ случаевъ сложной синекдохичности, другими словами, художественной типичности, состоить въ томъ, что они могутъ заключать въ себѣ и метафору; но отвлекаясь отъ ихъ частной, такъ сказать, тропичности, въ общемъ они представляютъ прежде всего одинъ изъ случаевъ синекдохи.

Сохраняя эту типичность (=синекдохичность), при дальнѣйшемъ, возбужденномъ имъ движениіи мысли, образъ можетъ стать для насть *иноскажательнымъ* (т. е. поэтичнымъ) въ смыслѣ метафоры. Отъ ближайшаго значенія мы переходимъ къ дальнѣйшему.

Есть много произведеній, которыя могутъ быть понимаемы такъ или иначе, смотря по свойствамъ понимающаго, степени пониманія, мгновенному настроенію. Держать понимающаго (читателя) на вѣсу между синекдохой и метафорой, говорить то, что хорошо и для понимающаго ребенка (нѣкоторыя такія стихотворенія Тютчева и Пушкина и др. печатаются въ хрестоматіяхъ для дѣтей, какъ картинки природы), но что будетъ хорошо и для взрослого при разнообразныхъ болѣе глубокихъ проникновеніяхъ въ смыслѣ, могутъ только натуры глубокія, т. е. умѣющиа изъ жизни природы и человѣка выхватить и изобразить въ словѣ моменты, позволяющіе мысли создавать широкія обобщенія, расширять и углублять ея содержаніе. Этимъ свойствомъ отличаются такія стихотворенія какъ „Обвалъ“, „Кавказъ“ Пушкина. Возьмемъ стих. „Обвалъ“.

Дробясь о мрачныя скалы,
Шумятъ и пѣнятся валы,
И надо мной кричатъ орлы,
И ропщетъ боръ,
И блещутъ средь волнистой мглы
Вершины горъ.
Оттоль сорвался разъ обвалъ
И съ тяжкимъ грохотомъ упалъ,
И всю тѣснину между скалъ
Загородилъ,

И Терека могучий валь
Остановиль,
Вдругъ истощась и присмирѣвъ,
О, Терекъ, ты прервалъ свой ревъ...
Но заднихъ волнъ упорный гнѣвъ
Прошибъ снѣга...
Ты затопиль, освирѣпѣвъ, свои брега.
И долго прерванный обвалъ
Неталой грудою лежалъ,
И Терекъ злой подъ нимъ бѣжалъ
И пылью водъ
И шумной пѣной орошалъ
Ледяній сводъ.
И путь по немъ широкій шель,
И конь скакаль, и влекся воль,
И своего верблюда вель
Степной купецъ,
Гдѣ нынѣчье мчится лишь Эоль,
Небесъ жилецъ...

Если цѣль всякаго поэтическаго произведенія—обобщеніе, то ближайшее значеніе этого стихотворенія—изображеніе частнаго случая обвала въ горахъ, сводящаго безконечное разнообразіе явлений подобнаго рода къ опредѣленной картинѣ, группѣ признаковъ, данныхъ въ поэтическомъ образѣ. Цѣль эта достигнута, разъ понимающей (читатель) узнаетъ въ нихъ знакомое и думаетъ: „я это знаю“, „я это видаль“, „такъ бываетъ въ горахъ“. Но возможна подстановка: „такъ бываетъ на свѣтѣ“, и мысль изъ опредѣленного замкнутаго сравнительно круга явлений природы и жизни человѣка переносится въ широкій кругъ человѣческой жизни вообще, личной, индивидуальной и народной, общественной, государственной; мысль, по выражению Гете, „устремляеть свой взоръ въ вѣкъ“, и образъ, оставаясь синекдохичнымъ, расширяется въ своемъ значеніи, благодаря метафорѣ, путемъ сравненія. И въ той части стихотворенія, гдѣ описывается моментъ, когда обвалъ неталой грудою лежалъ: „И путь по немъ широкій шель. И конь скакаль и влекся воль“... мысль усмотрить (по метонимії) символъ униженія грозной когда-то силы, наводившей страхъ прежде и служащей нынѣ самымъ мирнымъ занятіямъ человѣка, торговлѣ и другимъ сношеніямъ. Хорошій примѣръ „поэзіи безъ троповъ“ представляетъ собой маленький этюдъ Короленко „Огоньки“ въ первой его части, если отбросить совершенно вторую.

„Какъ-то давно, темными осенними вечероми, случилось мнѣ плыть по угрюмой сибирской рѣкѣ (название рѣки опущено, и это имѣть важное значеніе въ смыслѣ превращенія этюда, воспоминанія въ поэтический образъ). Вдругъ на поворотѣ рѣки, впереди, подъ темными горами мелькнула огонекъ.

Мелькнулъ ярко, сильно, совсѣмъ близко.

Ну, Слава Богу!—сказалъ я съ радостью,—близко началъ. Гре-

бецъ повернулся, посмотрѣль черезъ плечо на огнь и опять апатично налегъ на весло.

Далече!

Я не повѣрилъ: огонекъ такъ и стояль, выступая впередъ изъ неопредѣленной мглы. Но гребецъ былъ правъ: оказалось дѣйствительно, далеко.

Свойство этихъ ночныхъ огней—приближаться, побѣждая тьму, и сверкать, и обѣщать, и манить своею близостью. Кажется, вотъ-вотъ еще два-три удара весломъ,—и путь конченъ... А между тѣмъ—далеко!..

И долго еще мы плыли по темной, какъ чернила, рѣкѣ. Ущелья и скалы выплывали, подвигались и уплывали, оставаясь назади и теряясь, казалось, въ безконечной дали, а огонекъ все стояль впереди, переливаясь и маня,—все такъ же близко, и все также далеко...

Елпатьевскій (Рус. Богат. 1910 г. 11 кн.) говорить о „русской манерѣ Л. Н. Толстого думать образами“¹⁾. В. Г. Короленко самъ отмѣчаетъ эту манеру у себя, продолжая свой этюдъ такъ: „Мнѣ часто вспоминается теперь и эта темная рѣка, затѣненная скалистыми горами, и этотъ живой огонекъ. Много огней и раньше и послѣ манили не одного меня своею близостью. Но—жизнь течеть все въ тѣхъ же угрюмыхъ берегахъ, а огни еще далеко. И опять приходится налегать на весла... Но все-таки... все-таки впереди—огни!... Для Короленка одинъ моментъ изъ пережитаго стать поэтическимъ образомъ (иносказаниемъ, сложной метафорой), объясняющимъ сложныя явленія жизни вообще. Художникъ самъ направляетъ мысль къ такому пониманію образа, который является лишь частью, подчиненнымъ моментомъ болѣе сложнаго образа, куда входитъ и tolkovanie. Онъ могъ бы и не подѣлиться съ читателемъ тѣмъ, какъ часто этотъ образъ служить ему опорой для его личной мысли объ окружающей дѣйствительности, и тогда его этюдъ сохранилъ бы свое значение. Мы нарочно курсивомъ отмѣтили тѣ слова и выраженія въ немъ, которыя, оставаясь прозаичными, въ общемъ даютъ эффектъ поэтичности, иносказательности типа синекдохи: образъ становится въ мысли началомъ ряда подобныхъ и однородныхъ мыслей, представлений. Это свойство всякаго сложнаго поэтическаго образа, тождественное свойствамъ слова-синекдохи, называемое художественной типичностью, могло бы быть свободно названо синекдохичностью. Благодаря способности становиться началомъ ряда подобныхъ и однородныхъ образовъ, представлений характеровъ, лицъ, событий, чувствъ, настроений—безконечное разнообразіе явленій жизни въ томъ видѣ, въ какомъ она доступна индивидууму, въ художественной литературѣ сводится къ сравнительно небольшому числу образовъ. Другими словами, поэзія, давая сравнительно небольшое количество типичныхъ и, следовательно, мѣткіхъ образовъ, позволяетъ мысли легко переходить къ безконечному разнообразію всего содержанія жизни. Здесь поэзія—незамѣнимое средство познанія природы въ широкомъ смыслѣ слова. Научное или отвлеченное мышленіе никогда не стояло выше поэзіи: тѣ задачи человѣческой мысли, которые достигались крупными поэтическими произведеніями, стояли всегда впереди того, что составляло предметъ современного имъ научного, отвлеченного мышленія. Созданію крупнаго поэтическаго произведенія (Вертера, Гамлета, Разбойниковъ, Антигоны, Евгения Онѣгина, Отцовъ и дѣтей, Анны Карениной и пр.) предшествовали

1) Крапоткинъ (записки революціонера) отмѣчаетъ ее у Тургенѣва.

и сопутствовали научныя, прозаической рѣшенія простыхъ, скажемъ, мелочныхъ случаевъ жизни, частныхъ вопросовъ; предъ общими вопросами, затронутыми ими, эта наука пассивала. И вотъ тутъ-то на помощь являлась поэзія, съ ея художественною типичною образовъ, не *воплощая* чего-то готоваго, даннаго, какъ трактуется это въ литературной теоріи „отраженія дѣйствительности“, а *облегчая* пути мысли, запутавшейся въ мелочахъ, не разобралася въ нихъ. „Здѣсь поэзія и пластическое искусство въ своихъ областяхъ, живопись, скульптура, является могущественнымъ донаучнымъ средствомъ познанія природы, человѣка и общества. Она указываетъ цѣли наукъ, всегда находится впереди ея и незамѣнима ею во всѣхъ. Не всегда поэтические этюды могутъ стоять эмпирически выше современной науки, но синекдохичность ихъ останется вѣкъ всякою сомнѣнія, и можно много примѣровъ привести изъ признаній писателей-художниковъ, подтверждающихъ это положеніе. Что, напримѣръ, Тургеневъ смотрѣлъ на свои произведения, какъ на сложные синекдохи, это видно изъ его признаній по поводу „Отцовъ и дѣтей“. По поводу своей незначительной вещи „Стукъ! стукъ!“ мы читаемъ у него слѣдующее: „Я никакъ не могу согласиться, что *даже* „Стукъ! Стукъ!“ нелѣпость. Что же оно такое? спросите вы меня. А вотъ что: повальная стадія русскаго самоубийства, которое рѣдко представляетъ что-либо поэтическое или патетическое, а напротивъ почти всегда совершается вслѣдствіе самолюбія, ограниченности, съ примѣсью мистицизма и фатализма“. Трудно сказать, насколько выше или въ уровень съ современною ему мыслью шелъ здѣсь Тургеневъ; но остается фактъ пока общепризнанный, что въ Базаровѣ Тургеневъ предвосхитилъ нарождающееся явленіе, слѣдовательно, опередилъ свое время.

Итакъ, типъ есть сложная синекдоха, типичность—характерная черта всякаго образа. По отношенію къ автору, созданіе такихъ образовъ, будуть ли это картины природы въ лирическомъ произведеніи, или рядъ характеровъ-типовъ, рядъ изображеній быта и нравовъ семьи, общества въ романѣ, драмѣ, можно и должно разматривать, какъ случай познанія, который сводится къ основной формулы: *X* (нѣчто смутное для меня, неопределеннное, неясное, неразложимое) есть вотъ что: образъ *A*—картина природы, господинъ *NN*, мною изображеный и т. д. По отношенію къ читателю, цѣль поэтическаго произведенія достигается, когда понимающій, пользующійся имъ, узнаетъ что-то знакомое, чувствуетъ *облегченіе* мысли въ этомъ процессѣ узнанія, испытываетъ, слѣдовательно, то, что можно назвать эстетическимъ удовольствіемъ. Если образъ удаченъ, то хотя бы то, что составляетъ его содержаніе, и было намъ, современникамъ его созданія, хорошо знакомо, мы каждый разъ встрѣчаемъ его, какъ какое-то откровеніе. Если онъ удаченъ и если налицо другія благопріятствующія условія, широкое развитіе просвѣщенія, напр., расширение круга общества, принимающаго участіе въ процессѣ литературного творчества (писателей и читателей), расширение культурныхъ вліяній и международныхъ сношений, то онъ переживаетъ время своего созданія, имъ будуть пользоваться, какъ готовой сложной синекдохой, онъ становится тѣмъ, что называютъ общечеловѣческимъ типомъ.

Въ литературѣ можно привести много случаевъ пользованія готовымъ поэтическимъ произведеніемъ такъ, что оно, это готовое, данное произведеніе является какъ бы исходнымъ пунктомъ воспріятія окружающихъ явленій и созданія новыхъ образовъ. Такъ, Донъ-Кихотъ Сервантеса вызвалъ рядъ фигуръ въ русской литературѣ: „Герой очаковскихъ

временъ“ Квитки-Основяненко, „Донъ-Кихотъ московского захолустья“ М. Садовского, „Дворянскій Донъ-Кихотъ“ Лѣскова; очень интересный этюдъ извѣстнаго еврейскаго писателя, переведенный съ жаргона на польскій языкъ К. Юношой „Еврѣйскій Донъ-Кихотъ“. „Король Лиръ“ Шекспира нашелъ себѣ отраженіе въ „Степномъ королѣ Лирѣ“ Тургенева (появляется начинается перечисленіемъ типичныхъ фигуръ Шекспира, за которымъ слѣдуетъ разсказъ объ одномъ изъ случаевъ), въ „Деревенскомъ королѣ Лирѣ“ Златовратскаго. Сюда же относится „Гамлетъ“ Щигровскаго уѣзда“.

Типичный образецъ пользованія готовымъ поэтическимъ произведѣніемъ, сложной синекдохой, какъ примѣръ познанія, благодаря этому приему мысли, мы находимъ у Пушкина (Шейлокъ, Анжело, Фальстафъ Шекспира), который указалъ и на нѣкоторыя условія типичности, т. е. синекдохичности: „Лица, созданныя Шекспиромъ“, говорятъ Пушкинъ, „не суть, какъ у Мольера, типы какой-то страсти, такого-то порока, но *существа живыя, исполненные многихъ страстей и пороковъ*. Но нигдѣ, можетъ быть, гений Шекспира не отразился съ *такимъ многообразiemъ*, какъ въ Фальстафѣ, коего пороки, одинъ съ другимъ связанные, составляютъ забавную, уродливую цѣль“. „Многообразіе генія“, создающаго „существа живыя, исполненные *многихъ страстей*“—вотъ главнѣйшее условіе этой типичности. При этомъ условіи легко можетъ случиться то, о чёмъ дальше говорить Пушкинъ: „Въ молодости моей случай сблизилъ меня съ человѣкомъ, въ коемъ природа, казалось, желая подражать Шекспиру, повторила гениальное его созданіе. Нѣ быль второй Фальстафъ: сладостоливъ, хвастлившъ, неглупъ, забавень, безъ всякихъ правиль, слезливъ и толстъ. Одно обстоятельство придавало ему прелестъ оригинальную: онъ былъ женатъ. Шекспиръ не успѣлъ женить своего холостяка... Сколько сценъ потерянныхъ для кисти Шекспира! Вотъ черта изъ домашней жизни моего почтеннаго друга. Четырехлѣтній сынокъ его, вылитый отецъ, маленький Фальстафъ III, однажды въ его отсутствіи повторилъ про себя: „Какой папенька хлаблій! Какъ папеньку государь любить!“ Мальчики подслушали и кликнули: „Кто тебѣ это сказалъ, Володя?“—„Папенька“, отвѣчалъ Володя.

Изобилійные примѣры такого познанія явлений жизни, истолкованія ихъ при помощи созданныхъ художественной литературой типовъ представляютъ *жизнь*, т. е. *примѣненіе всѣхъ выдающихся произведеній русской литературы*, начиная съ Недоросля: Митрофанушка, Простаковъ, Чацкий, Молчалинъ, Скалозубъ, Загорѣцкій, Репетиловъ, Хлестаковъ, Маниловъ, Чичиковъ, Собакевичъ, Плюшкинъ, Ноздревъ, Обломовъ, Расплюевъ, Колупаевъ, Разуваевъ, помпадуры и помпадурши и т. п. Дополненные Донъ-Жуаномъ, Тартюфомъ, Faustомъ, Гамлетомъ, Донъ-Кихотомъ и пр., они составлять цѣлый отдѣль словаря литературной рѣчи. У нѣкоторыхъ писателей, напр. у Салтыкова, у Осиповича (Новодворскаго) въ его замѣтательномъ этюдѣ „Ни пава, ни ворона“ и въ другихъ очеркахъ, у Мачтета въ его остроумномъ „Опытѣ краткой монографіи“, озаглавленной тоже характерно „Иванъ“ (=русскій мужикъ). Ср. стихотв. Некрасова „Эй, Иванъ!“), мы встрѣчаемъ пользованіе извѣстными литературными типами, которые являются здѣсь чѣмъ-то въ родѣ постоянныхъ характеровъ въ итальянскихъ кукольныхъ комедіяхъ. Это пользованіе готовымъ типомъ происходитъ въ общемъ такъ: герою дается наименованіе готоваго литературнаго типа, затѣмъ дѣлается видоизмененіе этого типа соответственно тому, какъ онъ представился автору въ его личныхъ наблюденіяхъ. Это напоминаетъ нѣсколько то, что мы наблюдаемъ въ баснѣ, берущей готовые

сказочные типы лисы, волка, медведя, или въ древне-греческой трагедії, выросшей на эпической основѣ и бравшой оттуда готовыхъ героевъ для сцены, знакомыхъ зрителямъ по народно-поэтическому преданію.

Въ силу сложившейся литературной традиціи, мы наблюдаемъ слѣдующее: извѣстный литературный типъ пріобрѣтаетъ, такъ сказать, историческое значение въ жизни общества: не переводятся Молчалины, плюются Печорины, не умираютъ Чичиковы, опредѣленные характеры сживаются съ своимъ литературнымъ *собственнымъ* именемъ. Если это имя собственное, служа постояннымъ сказуемымъ къ *перемѣннымъ* подлежащимъ, употребляется въ качествѣ нарицательного, то мы получаемъ осо-бую фигуру синекдохи, которую древніе называли *антономасіей*, хотя и съ другимъ оттѣнкомъ значенія. Сюда относятся случаи, когда мы го-воримъ: такой-то—Ціцеронъ (=ораторъ въ прямомъ смыслѣ или въ ирони-ческомъ), или Меценатъ, Катонъ, Соломонъ, спартанецъ, Менторъ, вандалъ, эпикуреецъ и т. п. Значеніе этого термина можетъ быть расширено до случаевъ, данныхъ въ языке въ изобиліи, когда *эпитетъ* замѣняетъ опредѣляемое, занимаетъ въ мысли его мѣсто (напр. „борзая“, „столовая“ и т. п.). А съ другой стороны эту фигуру съ трудомъ можно различить отъ другой, которую древніе называли аллюзіей (*allusio*=намекъ), съ тою только разницей, что аллюзія шире: это просто ссылка на прежде извѣстное, за-ключающаяся въ синекдохическихъ, метонимическихъ и метафорическихъ сказуемыхъ, опредѣленіяхъ, насколько они намекаютъ на извѣстные раз-сказы: напримѣръ „сварганиль“ говорится о плохой работе, на основаніи разсказа о цыганѣ, которому много было дѣла: дуть, ковать, *варгакы* дѣлать, на базаръ носить, продавать, хлѣбъ покупать, дѣтей кормить: а музыку всего дѣла: „ори, мели, іж“—вспашни, смели, Ѣшь); „свести дѣло на пшикъ“ образовалось изъ извѣстного рассказа о неумѣломъ кузнецѣ, тоже цыганѣ, любившемъ мѣняться. Сюда слѣдуетъ отнести такія выраже-женія, какъ *домостроевщина*, *обломовщина*, *чеховщина* и пр.

Чтобы антономасія была поэтичной, т. е. чтобы въ ней легко совер-шался процессъ мысли по синекдохѣ, необходимо, чтобы она была умѣст-ной, понятной, чтобы въ мысли читающаго и слушающаго она легко за-мыщалась конкретнымъ, *образомъ*. Въ противномъ случаѣ она становится пустымъ фразерствомъ говорящаго или пишущаго, дурной манерой. Го-сподство въ извѣстное время опредѣленныхъ антономасій указываетъ на извѣстный запасъ знаній, литературныхъ вліяній, вкусовъ данного времени. Встрѣчающіяся, напримѣръ, у Пушкина выражения „сельские циклопы“ (=кузнецы), „автомедонты (=ямщики) наши бойки“ врядъ ли употребля-лись его современниками и были, вѣроятно, менѣе умѣстны и понятны, чѣмъ „странствовать подъ небомъ Шиллера и Гете“, „мы все глядимъ въ Наполеона“ и др. Иногда такія собственные имена совершенно пере-стаютъ чувствоватьсь, они ничѣмъ тогда не отличаются отъ нарицатель-ныхъ: слово „ловеласъ“ огромному большинству употребляющихъ его ни-чуть не напоминаетъ героя сентиментального англійского романа¹⁾.

¹⁾ Въ народной поэзіи „Дунай“ стало нарицательнымъ вполнѣ, такъ что можно говорить о дунаяхъ, т. е. *рѣкахъ* и *водѣ* вообще. Это переходъ отъ собственного къ нарицательному по синекдохѣ. Возможенъ и переходъ синекдохи въ метонимію въ такой, напр., антономасіи: „Всякое время даетъ Клавдіевъ, но не всякое Катоновъ“—будетъ метонимія, если понимать такъ: во всякое время *порокъ*, не всегда—*добродѣтель* (преобладающая ихъ каче-ства). Т. о. *москаль* въ смыслѣ великороссіянина—синекдоха, *москаль*—сол-датъ вообще, хотя и не великоруссъ—метонимія.

Роль и значение такого рода фигуръ, какъ и замѣна цѣлаго разсказа однимъ какимъ-нибудь выраженіемъ („собаку сѣсть“—прощель хорошую школу жизни и труда), употребленіе въ басняхъ въ качествѣ героеў извѣстныхъ животныхъ, сводится къ слѣдующему: взамѣнъ сложныхъ характеристикъ мы пользуемся однимъ, двумя словами. Здѣсь мы наблюдаемъ то, что называется стущеніемъ мысли и экономіей, сбереженіемъ ея силы.

Всѣ такие обороты рѣчи, т. е. фигуры синекдохического характера направлены къ облегченію мысли, ибо схватывать мыслю частное вмѣсто цѣлаго легче. Но утверждали, что разсматриваемый нами въ языкѣ троپъ состоитъ не только въ переходѣ отъ частнаго къ общему, а и наоборотъ (не только pars pro toto, но и totum pro parte). Разсматривая синекдоху съ точки зрѣнія облегченія и ускоренія мысли, съ первого раза можно усомниться въ существованіи обратнаго процесса отъ цѣлаго къ части; а если случаи и существуютъ, то это будетъ не синекдоха, а нѣчто другое. Есть привычка у русскаго крестьянина на вопросъ о происхожденіи отвѣтить, смотря по обстоятельствамъ: мы курскіе, мы фроловскіе и т. п. по общему правилу „громада (миръ)—великъ человѣкъ“. Личность отождествляется какъ бы съ цѣлымъ въ цѣляхъ возвеличенія (pluralis majestatis). Сюда относится множественное число вещей, представляющихъ множественность или двойственность частей: ножницы, сани, ворота, очки и т. п. въ цѣляхъ, очевидно, наглядности изобразительности. Цѣлое вмѣсто части, общее вмѣсто частнаго, само по себѣ не можетъ служить изобразительности, но оно достигаетъ своей цѣли, не какъ синекдоха, а какъ гипербола, какъ напримѣръ, въ выраженіи: перевернуть весь домъ. Къ образцу „общее вмѣсто частнаго“ относять „родь вмѣсто вида“, напр., французъ, нѣмецъ, вмѣсто учителя французскаго языка и т. п. Но здѣсь можно видѣть скорѣе настоящую синекдоху—pars pro toto, такъ какъ предметъ въ такихъ случаяхъ представляется однимъ изъ своихъ признаковъ, мыслимыхъ не въ своей возможной всеобщности, а какъ принадлежащій именно этому предмету. Это—чистая синекдоха, предполагающая нѣчто подобное вытѣненію опредѣляемаго эпитетомъ: французъ—учитель.

Путь отъ общаго къ частному наблюдается и въ нѣкоторыхъ случаяхъ сложной синекдохи. Есть случаи, когда вначалѣ высказывается общее положеніе и синекдохично сводится на частный случай, который является средствомъ поясненія, доказательствомъ общаго. Въ этомъ случаѣ мы имѣемъ фигуру несомнѣнно синекдохического характера, близкую къ синекдохѣ: древніе называли ее примѣромъ (exemplum). Образцомъ могутъ служить стансы Пушкина 22 декабря 1826 года, гдѣ общее положеніе

„Въ надеждѣ славы и добра
Впередъ гляжу я безъ боязни“.

сопровождается частнымъ случаемъ, примѣромъ:

Начало славныхъ дней Петра
Мрачили мятежи и казни;
Но правдой онъ привлекъ сердца,
Но нравы укротилъ наукой,
И былъ отъ буйного стрѣльца
Предъ нимъ отличенъ Долгорукій и пр.

То, что частное здѣсь представляеть какъ бы исторический фактъ, для насъ несущественно; важно, чтобы примѣръ чувствовался однородныи съ доказываемымъ, чтобы метафора еще отсутствовала или зави-

мала подчиненное положение, чтобы на ея месте была еще синекдоха. При этом условии всякая басня, безъ традиционныхъ метафорическихъ дѣйствующихъ лицъ, съ общимъ положениемъ вначалѣ сводится къ рассматриваемой фигурѣ. Попробуемъ примѣнить ее къ роману, драмѣ, и мы увидимъ и здесь нѣчто, напоминающее намъ рассматриваемую сложную синекдоху. Если, такъ сказать, отодвинуть отъ себя вдали крупное художественное произведение, романъ, драму, такъ что подробности исчезаютъ и мыслью улавливается лишь общая схема изображаемаго, то вся, напр. Иліада выльется въ общее выражение: „паны дерутся, а у мужиковъ чубы трещатъ“. Возможенъ такой случай и въ процессѣ творчества. Представьте себѣ автора, уловившаго нѣкоторый случай огромной общественной важности въ формѣ романа или драмы и отойдя мысленно на почтенное разстояніе отъ изображенія, онъ самъ усматриваетъ въ немъ нѣчто общее, чemu даетъ и общее выраженіе или, правильнѣе сказать, ставшее общимъ, независимо отъ метафоричности его: „Плоды просвѣщенія“, „Власть тьмы“, „Не въ свои сани не садись“, „Лѣсь рубятъ, щепки лѣтятъ“ и т. п. Возможно, что въ моментъ уловленія частнаго случая жизни, приведенные нами выраженія играли роль фигуры *примѣра*. Т. е. дѣло было такъ при первомъ актѣ наблюденія и познанія: то, что я вижу въ общественной, семейной жизни все равно, какъ если бы рубили лѣсъ и т. д. А когда процессъ творчества законченъ, для настѣ, пользующихся готовымъ созданіемъ, то, что было фигурой примѣра, стало общимъ положеніемъ въ заглавіи, въ названіи романа, драмы.

Еще одно замѣчаніе по поводу рассматриваемаго вида сложной синекдохи—*примѣра*. Въ этой фигурѣ можно видѣть два случая: первый, когда частный случай присоединяется къ общему положенію, какъ нѣчто дѣйствительное, реальное, исторический фактъ, что грамматически выражается изъявительнымъ наклоненіемъ, какъ въ приведенномъ образцѣ (стансы Пушкина); второй, когда частный случай есть возможное, а не дѣйствительное, когда событие, примѣръ связывается съ общимъ положеніемъ синтаксической связкой „какъ если бы“ не въ изъявительномъ, а въ условномъ, потенциальному наклоненіи. Какое это можетъ имѣть значеніе при разсмотрѣніи сложныхъ процессовъ творчества, въ результатахъ которыхъ получаются сложные продукты поэзіи, романъ, драма, поэма-басня, стихотвореніе въ прозѣ и т. п. или отдельные крупные эпизоды, этихъ сложныхъ произведеній? Не представляютъ ли эти сложные продукты поэзіи также двухъ разновидностей сложной синекдохи, изъ которыхъ въ одной преобладаетъ *бытовое, реальное*, а въ другой—это *возможное*, это „какъ если бы“? Пушкинъ зналъ, что отравление Моцарта его другомъ Сальери—ложь; но общія мысли о гени и талантѣ и пр. требовали своего выраженія, объясненія. И вотъ понадобилось это допущеніе: „какъ если бы Сальери отравилъ Моцарта“, и получился драматический этюдъ „Моцартъ и Сальери“.

Въ нашу задачу не входить изученіе процесса созданія и жизни сложныхъ поэтическихъ произведеній, и мы ограничимся лишь указаніемъ на возможность и необходимость изученія ихъ съ намѣченной точки зрения усложненія простѣйшаго тропа, даннаго въ языке. Общія психологическая основанія такого изученія можно формулировать такъ: узость сцены нашего сознанія, наблюданная въ каждый отдельный моментъ душевной дѣятельности, съ одной стороны, а съ другой—неотразимая потребность мысли къ широкому захвату, обобщенію, приведенію въ связь огромнаго

количества явлений жизни, личныхъ переживаний—вотъ то основаніе, на которомъ зиждется широкое распространеніе того приема мысли, который мы наблюдали въ только что разсмотрѣнномъ случаѣ-синекдохѣ, отъ его простѣйшихъ формъ до наиболѣе сложнаго выраженія этого процесса мысли въ литературномъ типѣ и типичности всякаго поэтическаго образа.

Перейдемъ теперь къ другому тропу, которому древніе дали название *метониміи*. Отличие его отъ синекдохи дано было выше, какъ выше мы указывали на близость этихъ двухъ троповъ, дающую поводъ считать синекдоху однимъ изъ видовъ метониміи.

Конкретное состояніе сознанія, этотъ единственный фактъ, доступный нашему наблюденію, когда мы желаемъ понять свое „я“, свои переживания, другими словами, дѣйствительность, представляется намъ потокомъ представленій, чувствъ, стремленій, цѣпью постоянно утекающихъ образовъ, понятій. Въ этомъ движениіи нашей мысли слово, членораздѣльный звукъ, связанный съ какимъ-нибудь единичнымъ моментомъ, незначительной частью указанного конкретнаго состоянія, является замѣстителемъ весьма неопределенного, неограниченного содержанія мысли. При этомъ наблюдается слѣдующее любопытное явленіе, на которое мы указывали выше: слово не мыслится обыкновенно, какъ сочетаніе звуковъ и значенія, а слово, какъ комплексъ звуковъ, замѣщаетъ слово, какъ значеніе. Въ силу свойственной древнему человѣку иллюзіи, слово казалось и было дѣломъ, вещью. Назвать *смерть* значило вызывать самое явленіе. При такомъ миѳическомъ пониманіи слова оно было уже *метониміей*: имя вмѣсто вещи. Съ переходомъ къ другому состоянію мысли, о словѣ, какъ имени, сложилось представление, что оно является какъ бы вмѣстилицемъ значенія. И въ рѣчи получается впечатлѣніе какъ бы постояннаго употребленія содержащаго вмѣсто содержимаго, звуковъ вмѣсто значенія, т. е. опять-таки метонимія. Но въ дѣйствительности это не совсѣмъ такъ, ибо всякое живое слово есть сочетаніе звуковъ и значенія. Какъ такое, оно является завершеніемъ процесса мысли, слѣдствиемъ этого процесса, являющагося причиной. И съ этой точки зрѣнія, какъ слѣдствіе вмѣсто причины, оно также будетъ метониміей.

Это, такъ сказать, общая метонимичность рѣчи. Метонимія—это одна изъ универсальныхъ привычекъ мысли, неизбѣжная ея форма, отъ которой мы не властны освободиться въ силу самой природы нашей психики. Вниманіе къ однимъ явленіямъ нашего сознанія и разсѣянность по отношенію къ другимъ, потребность въ быстромъ уловленіи не только ряда представленій, а и ихъ отношеній, при сравнительной бѣдности языка или вообще, при ограниченности средствъ вѣнчанаго обнаруженія процесса мысли и неограниченномъ количествѣ представленій и понятій, подлежащихъ выраженію, объективированію, ведеть постоянно къ тому приему слова—мысли, который называется *метониміей* въ собственномъ смыслѣ слова, о которой будетъ рѣчь. Здѣсь *обозначаемое* не находится уже въ такой количественной связи, въ такомъ пространственномъ отношеніи съ образомъ, знакомъ, *обозначающимъ*, какъ въ синекдохѣ (*человѣкъ=люди, голова=человѣкъ*), где образъ является началомъ ряда отдѣльныхъ представлений или частью, отъ которой мысль переходить легко къ цѣлому.

Сложное явленіе схватывается, улавливается говорящимъ и слушающимъ такъ, что изъ цѣпи представленій называется ближайшее (образъ)

для обозначенія дальнѣйшаго (значеніе). На этомъ ближайшемъ мысль почему-то сосредоточила *вниманіе*. Я вижу улицу, я слышу шумъ голосовъ, вижу вереницу людей, снующихъ по ней, экипажей, и у меня вырвалась фраза: *улица шумить*.—Крестьянинъ трудился надъ своей нивой, пахать, сѣять. Крупныя капли пота падали иногда на землю. Результатъ этого труда—созрѣвшая пшеница. Война, передвиженія войскъ уничтожили урожай. Вся эта вереница представлений, быстро промелькнувшая въ мозгу, получила у Шиллера такое выраженіе: „пахаря потъ растоптанъ лежить“. Чтобы прийти къ такому заключенію (отъ *пота*, вѣнчанаго признака труда, къ *зерну*, составная часть котораго есть *трудъ земледѣльца*), нужень извѣстный пробѣгъ мысли, извѣстное движение представлений. Это не простой переходъ отъ части къ цѣлому, т. е. не синекдоха, такъ какъ здѣсь въ понятіе о хлѣбѣ на корню (т. е. въ значеніе) вносится новый признакъ *труда—пота*, который при обычномъ бѣгломъ представлении отсутствуетъ. Точно также въ выраженіи *улица шумитъ* при переходѣ отъ *улицы* къ *толпѣ*, къ *значенію*, въ это послѣднее вносится новый признакъ *жизни, суеты людской*. Однимъ словомъ, въ значеніе при метониміи вносится новый признакъ, взятый не изъ образа, обозначающаго, а изъ ряда привычныхъ представлений, сопровождающихъ въ мысли данный образъ. Метонимія здѣсь не для одной красоты, не ради конкретности представлія самой по себѣ, а въ силу невозможности иначе выразиться и въ силу необходимости въ немногихъ словахъ сказать многое.

Какъ ни дѣлить формы ассоціаціи, наблюдаемыя въ метониміи, онъ сводятся къ одной: А (образъ) предшествуетъ искомому Х (значенію), т. е. къ ассоціаціи по послѣдовательности во времени. Всѣ случаи метониміи, наблюдаемые въ языкѣ, имѣютъ одинъ общий характеръ: переходъ мысли отъ болѣе конкретнаго, нагляднаго къ болѣе отдаленному, отвлеченному значенію, замѣна ближайшимъ по времени воспріятіемъ того, что доходитъ до сознанія послѣ. Огромное количество словъ въ языкѣ, не возбуждающихъ уже движенія мысли по метониміи, относится къ метониміямъ выцвѣтшимъ и словамъ прозаическимъ, въ которыхъ звуки непосредственно примыкаютъ къ значенію. Но этой прозаичной отвлеченностіи предшествовала несомнѣнно метонимичность.

Какъ обозначается мѣсто, разстояніе, направленіе, пространство? Какъ обозначается время, дѣйствіе, состояніе, качество, количество?

1. Обозначеніе общихъ понятій о *пространствѣ*, странахъ свѣта, разстояніи, направленіи не могутъ быть достигнуты иначе, какъ путемъ метониміи.

Востокъ и западъ—собственно имена *дѣйствія*, слѣдовательно, мѣсто и направленіе (на востокъ) обозначается тѣмъ, что тамъ происходит: гдѣ солнце *востекаетъ, западаетъ*. Другой пріемъ обозначенія странъ свѣта—по *примѣту*: наше *сѣверъ, югъ* имѣло значеніе холода-наго и теплого вѣтра, слѣдовательно, название этихъ частей свѣта добыто метониміей отъ примѣты къ мѣсту, гдѣ наблюдался этотъ признакъ; эта примѣта.

Общее значеніе словъ, какъ *высоко*, какъ *далеко*, намъ представлялось такъ просто, что одно время считали идею пространства врожденной. Но понятіе это слагалось изъ болѣе частныхъ путемъ метонимій. *Верста* (корень—*верт*)—поворотъ, дѣлаемый плугомъ въ концѣ борозды, а затѣмъ мѣра длины. *Сажень*—одного корня съ *связати*—*до-связати*—мѣра длины, опредѣляемая растянутыми руками. Въ словѣ *локоть* мы имѣемъ

двойную метонимію, такъ какъ, вѣроятно, слово *локоть* прежде всего обозначало сгибъ руки, откуда уже длина руки отъ сгиба, какъ мѣра длины. Въ народной поэзіи, въ древнихъ памятникахъ обычны выраженія длины, разстоянія: *на одинъ выстрѣлъ*, *на верженье копья*; конь скачеть *на три копья впередъ*; въ просторѣчіи—„якъ добрѣ ціпкомъ (палкой) кинуть“, какъ у Гомера: *на выстрѣлъ изъ лука*, *на верженье камня*.

Ставшія давно прозаическими выраженія: *долой, кромѣ*—также метонимичны: въ „долой“ значеніе *прочь* выражено бросаніемъ вещи на земль; нарѣчіе *кромѣ* есть дат. падежъ отъ слова *крома*—край, слѣдовательно, здѣсь *направленіе къ краю* было предшествующимъ значеніемъ. Мѣсто изображается дѣйствіемъ: быть въ *судѣ*, отправился въ *съездъ*, жить въ *собраніи* (дворянскомъ).

2. Время опредѣляется весьма часто какимъ-нибудь событиемъ, относительно близкимъ къ намъ. Счисленіе отъ Рождества Христова для простолюдина, а встарину и для грамотныхъ писцовъ, было слишкомъ отвлеченнымъ понятіемъ, и поэтому весьма часто время опредѣляется частнымъ, болѣе близкимъ къ пишущему или говорящему событиемъ по образцу: когда это было? Когда погорѣло село въ третій (послѣдній) разъ... Дана грамота лѣта такого-то, юля такого-то, когда епископъ *Митрофанъ умеръ*.

У Пушкина такой способъ обозначенія встрѣчается почти постоянно. Такія выраженія, какъ *зимою, раннимъ утромъ, до зари, послѣ обѣда, до окончанія балета* являются мало конкретными, и потому мы часто у него находимъ слѣдующій приемъ:

до окончанія балета: „еще амуры, черти, змѣи на сценѣ скачутъ и шумятъ; еще усталые лакеи на шубахъ у подъѣзда спятъ; еще не перестали топать, сморкаться, кашлять, плакать, хлопать; еще снаружи и внутри вѣздѣ блестаютъ фонари; еще, прозѣбнувъ, бываютъ кони, наскучая упряжью своей, и кучера вокругъ огней бранять господъ и бывать въ ладони... А ужъ Онѣгинъ выпѣль вонъ.—Вся приведенная изъ „Евгения Онѣгина“ цитата является одной распространенной метониміей, которая вызвана не одной необходимостью обозначить время, но и другими цѣлями, наличность которыхъ чувствуется читателемъ.

Эти примѣры интересны не только для характеристики стилистическихъ приемовъ обозначенія времени, а и какъ самый способъ образования словъ для обозначенія времени. У поморовъ въ Архангельской губерніи сутки дѣлятся на *двѣ воды*, т. е. дважды чередуются приливы и отливы. Продолжительность выѣзда въ море опредѣляется на *двѣ воды, на одну воду*. Вода означаетъ не только такой-то часъ 12, 6, но и промежутокъ времени: простоять *цѣлую воду*. Малорусское *тыжденъ*=тотъ же день (склонялось *то же днѧ* и т. д.) означаетъ недѣлю. По тому же способу *льто* имѣть два значенія: 1) годъ обозначается *льтомъ*, какъ теплымъ временемъ всего года и 2) лѣто, какъ периодъ дождей (гл. ли-ть и лѣ-ть), противоположное периоду снѣговъ—зимѣ. Зима отъ болѣе древняго значенія холода, снѣга переходитъ къ значенію времени года, а потомъ и *всего года*: столько-то зимъ=столько-то лѣтъ (у Фукидіса). *Недѣля*—день воскресный, начало периода, а потомъ весь периодъ. *Ѣздава*—конецъ лѣта, а потомъ и все лѣто. *Годъ* (отъ гад-ати)—условленная, уреченная пора (рокъ), а потомъ и весь периодъ. Въ словѣ *вѣкъ* нѣсколько иные переходы мысли. Мы разумѣемъ здѣсь жизнь человѣка и опредѣленное пре-

увеличенное протяженіе ея 100 лѣтъ. Болѣе древнее значеніе, въ Русской правдѣ: платить штрафъ за *вѣкъ*—поврежденіе руки, ноги. Здѣсь *вѣкъ*—сила: безъ вѣка оставить, изувѣчить.

Сюда же относятся названія мѣсяцевъ—листопадъ, рѣкоставъ, и название дней: на Теплого Алексія, на Петра полуокорма, на Родіона ледолома, Мартына лисогона.

Для обозначенія очень короткаго периода времени: *мигъ* (topen-tum изъ movimentum, мгновеніе)—протяженіе времени удара вѣка, *разъ*—протяженіе времени удара (разить); *махъ*—(въ одинъ маxъ)—духомъ сбѣгаю—сколько нужно времени, чтобы маxнуть рукой, перевести дыханіе.

Во всѣхъ приведенныхъ случаяхъ движеніе мысли происходитъ отъ единичнаго, конкретнаго, и мы стоимъ на межѣ между синекдохой и метониміей. Синекдохичность чувствуется сильно. Но есть случаи при обозначеніи пространства, времени, когда единичность (болѣе поэтическій приемъ) замѣняется множественностью (менѣе поэтическій приемъ, близкій къ прозаическому выраженію), гдѣ уже наблюдается чистая метонимія, безъ участія синекдохи. Какъ для обозначенія мѣста „на востоцѣхъ, въ головахъ, въ ногахъ“, такъ для обозначенія времени: *зори*—время, когда восходитъ заря; *куры*, когда куры поютъ (куръ-пѣтухъ), въ обѣдъ когда, люди обѣдаются; *сутки* (сутьки), когда день стыкается съ ночью; *сумерки*, когда бываетъ сумракъ; *святки*, когда бываетъ „святочъ“, празднованіе святого (*святы*)—та книга въ которой находится списокъ *святковъ*).

3. Третья общая категорія—*дѣйствіе* или *состояніе* выражается однимъ моментомъ изъ многихъ, однородныхъ или неоднородныхъ, такъ что мы здѣсь нерѣдко стоимъ на границѣ между синекдохой и метониміей, но ближе къ метониміи. Пушкинъ часто прибегаетъ къ такому приему: „Но такъ какъ съ задняго крыльца обыкновенно подавали ему донского жеребца (=онъ *уэзжалъ*), лишь только вдоль большой дороги заслышать ихъ домашни дороги (=къ нему *ъхали*).“

Сѣсть на коня—отправиться въ походъ (соединеніе синекдохи и метониміи); *сѣдлать коня*—готовиться къ поѣздкѣ; *крестъ цѣловать*—присягнуть, вступить въ договоръ; *повергнуть крестныя грамоты*—прекратить договоръ=потоптать роту его (договорную грамоту); самое *присягнуть*—прикоснуться, одинъ изъ моментовъ обряда присяганія; испить шеломомъ Дону Великаго—дойти до Дона; гиперболическое „Донъ шеломы вильти, Веслу веслы раскрошити“; „не возмогша и стяга поставити“—не могли расположиться въ боевомъ порядкѣ; малор. *звить хоруговку*—звѣсть знамя, бѣжать; „дѣждать рясту (весеннеѣ цвѣты) тоptати“—дождаться слѣдующей весны; „покрыть голову дѣвкѣ“—выдать замужъ; „давай Богъ ноги“—ушель; „нога моя не будетъ тамъ“—не прииду; „ударить по рукамъ“—договориться; „поставить на ноги“—вылѣчить (метафорически—оказать поддержку); „сѣдую косу плести“—вѣкъ сидѣть въ дѣвкахъ; „крутить головой“—отказываться; „пусть почешеть затылокъ“—пусть подумаетъ; „скривилъ носъ“ выразилъ неудовольствіе, и т. п.

Сюда же относится изображеніе образа дѣйствія или состоянія виѣшнимъ знакомъ: „Тяжела, ты *шапка* Мономаха—трудно царствовать; добрѣ утеръ поту за землю русскую—много потрудился. *Бѣдетъ быстро*: „Ужъ темно: въ санки онъ садится: поди! поди! раздался крикъ“... Вторичная метонимія замѣняется въ лѣтописномъ выраженіи: Мстиславъ „унаслѣдовалъ *потъ* отца своего“, занялъ престоль. По образцу его мы имѣемъ цѣлый рядъ словъ, съ такимъ значеніемъ перешедшихъ въ словарь, напр.:

1) *бесѣдка*—скамейка на кораблѣ и маленькія перила около скамейки въ видѣ буквы *n* на лодкѣ, *бесѣдка* въ саду, 2) собраніе людей—въ пиру-ли въ бесѣдѣ=въ обществѣ. Значеніе рѣчи разговора пошло не прямо отъ скамьи, а отъ собранія людей.

Въ числѣ относящихся сюда примѣровъ особое мѣсто занимаетъ словесное изображеніе чувства жестомъ: *махнуть рукой*—отчаяться; *задрать носъ*—выразить презрѣніе, возгордиться; *ужимать губы*—церемониться; *облизываться*—зариться на что; *что облизался?* (поймалъ облизня)—ушель ни съ чѣмъ; *показать шишъ*—отказать; *ударить по бедрамъ, обѣ полы*—выразить печаль, досаду и т. п.

Дѣйствіе выражается моментомъ, наиболѣе поражающимъ, бросающимъ въ глаза, состояніемъ человѣка, тѣмъ, что его производить, орудіемъ, лицомъ: *разгоревать, спечелить* (печаль)—добыть; *вымучить, вытanicовать*; *хозяйскій глазъ*—въ смыслѣ досмотра; *горло*—голосъ; *сердце*—гнѣвъ, быть въ сердцахъ; сердце—любовь. Въ послѣднихъ слу-чаяхъ мы имѣемъ метонимію, какъ первый шагъ мысли, т. е. когда органу приписывается психологическое дѣйствіе любви, гнѣва, а затѣмъ можетъ быть и метафора.

Рука употребляется въ самыхъ разнообразныхъ значеніяхъ: *подпись, почеркъ*—это его рука; *ходить въ руку*—находиться въ зависимости; *сыграть кому въ руку*—угодить; *развязать руки*—не препятствовать. *Голова* въ значеніи ума: *выкинуть изъ головы, потерять голову, забрать себѣ въ голову. Ухо* въ смыслѣ слуха, вниманія: *нѣть уха, ухомъ не ведеть. Медъ, хмѣль* въ смыслѣ опьяненія: „*въ меду не мужайся*“ стар. russ.; во хмелю буенъ.“

По образцу перехода мысли отъ орудія къ дѣйствію (*медъ* и опьяненіе, производимое имъ), мы можемъ отнести сюда такие случаи перехода отъ дѣйствователя къ его орудію, продукту дѣятельности, его дѣйствію: читать охотно *Anuleя*—вм. его произведения. *Sine Baccho et Cerere friget Venus.* Древніе указывали на такие обороты рѣчи, какъ на средство украшенія рѣчи. Эта точка зреінія намъ чужда, и мы видимъ въ нихъ необходимые моменты человѣческой мысли, а не украшеніе ея.

Перунъ—мифическое лицо въ смыслѣ громового удара: метать перуны. Лицо въ значеніи того, что ему принадлежитъ: *сокѣдъ погорѣль*. Предводитель вмѣсто войска: *Ганибалъ у воротъ Рима*.

Переходы мысли отъ имени къ глаголу, вытѣженіе имени глаголомъ наблюдаемое въ исторіи русскаго и другихъ родственныхъ языковъ, то, что А. А. Потебня называлъ преобладаніемъ глагольности въ современномъ намъ языкѣ по сравненію съ предшествовавшими эпохами развитія рѣчи, находится въ связи съ метониміей отъ дѣйствователя къ его дѣйствію; другими словами, всѣ успѣхи глагольности языка являются результатомъ метониміи, т. е. переходовъ мысли отъ имени дѣйствователя къ названію дѣйствія; поэтическое выраженіе дѣйствія посредствомъ имени составляло переходную ступень: я сюда не ѹздокъ—не стану ѹздить и т. п.

Переходъ отъ имени дѣятеля къ дѣйствію можетъ быть рассматриваемъ, какъ переходъ отъ причины (дѣятель) къ слѣдствію (его дѣйствію). При этомъ извѣстные признаки причины будутъ переноситься на слѣдствіе: *вино пьяное, печальная старость, ужасная смерть, блѣдная смерть* и т. п.

Свойство дѣйствія приписывается времени, мѣсту дѣйствія: *скорымъ часомъ, молчаливый кабинетъ, свободная земля* и пр. Всѣ перечисленные

случаи имѣютъ одинъ общий характеръ: переходъ отъ болѣе нагляднаго признака къ болѣе отвлеченному: время, мѣсто, дѣйствие, состояніе. Казалось бы, что совершенно невозможенъ обратный переходъ—отъ болѣе отвлеченного къ болѣе конкретному. Однако, наблюдаются случаи этого обратнаго перехода отъ страны къ народу, отъ времени къ тому, что совершается въ это время, отъ свойства, качества къ лицу, отъ дѣйствія къ дѣйствователю.

Присмотримся къ такимъ образцамъ, какъ: „весь городъ говорить“, „и заснуль востокъ“, „весь светъ это знаетъ“, „нашъ вѣкъ такой-то“. Мы увидимъ, что здѣсь не чистая метонимія, а вмѣстѣ съ тѣмъ и фигура олицетворенія. Въ случаяхъ образца „вся Украина о немъ плакала“ будеть на лицо опять-таки переходъ отъ чего-то конкретнаго, благодаря олицетворенію, къ чему-то отвлеченому: всѣ жители, населеніе, народы... Всякій тропъ есть эвристической пріемъ, сберегающей силы, пріемъ, состоящій въ томъ, что болѣе трудное разлагается на болѣе простое, и въ немъ всегда чувствуется переходъ отъ болѣе легкаго къ болѣе трудному, а не наоборотъ. Если въ искусственной манерной рѣчи наблюдается обратное, то это указываетъ лишь на ненормальность этого явленія, нежелательность и ненужность для мысли.

Образность при переходѣ отъ олицетворенія къ олицетворяемому съ теченіемъ времени утрачивается и такія выраженія становятся прозаическими: Россия находится въ печальному положеніи, все село взволновалось и пр. Не всегда тутъ дѣло въ олицетвореніи, а скорѣе въ вещественномъ представлениі: страна представляется чѣмъ-то вещественнымъ, что можно взять въ руки: „возьмемъ села и пойдемъ съ полономъ къ себѣ“. Примеры у Пушкина: „А Петербургъ неугомонный быть барабаномъ пробужденъ“.—„Напрасно ждалъ Наполеонъ... Москвы колѣнопреклоненной съ ключами старого Кремля“.

Переходъ отъ свойства, качества, вещества къ личности, венци: какъ обступило насть цыганское *наважденіе*=цыгане; твоѳ *вниманіе* меня порадовало: въ *шелку, бархатѣ и золотѣ* ходила, съ *свинцомъ* въ груди. Время вм. событий: *средніе вѣка* вызывали чувство ужаса. Дѣйствіе вм. лица дѣйствующаго: ты моя *забота* милая (о мнѣ заботилась).

Приведенныхъ примѣровъ достаточно для иллюстраціи всеобщности процесса мысли по метониміи, его неизбѣжности, необходимости, важности въ языкѣ народа, въ рѣчи поэта и прозаика. Теперь опять можно поставить вопросъ, какое же значеніе могутъ имѣть наши наблюденія надъ различными случаями метониміи въ языкѣ при опредѣленіи свойствъ сложныхъ художественныхъ процессовъ мысли, сложныхъ художественныхъ произведеній.

Мы должны прежде всего отмѣтить здѣсь, что въ чистомъ видѣ трудно указать такие случаи сложной метониміи, по той причинѣ, что одно и тоже сложное словесное произведеніе можетъ быть точкой прикрепленія различного рода пониманія по метониміи и синекдохѣ, по метониміи и метафорѣ.

Нерѣдко приходится наблюдать такой художественной пріемъ, наблюдаемый и въ народной поэзіи и въ поэзіи писателей-поэтовъ: частная событий ставится въ связь съ теченіемъ времени съ общимъ потокомъ событий. Самъ авторъ указываетъ на метонимичность совершающагося въ душѣ его процесса, впутывается, такъ сказать, въ самое событие, и въ

началъ произведенія мы встрѣчаемъ особую часть, прологъ, запѣвъ. Положимъ, на нашихъ глазахъ „тчется пѣсня“ пѣвицей, сидящей у окна. Вотъ начало ея:

Мимо моего садика
Мимо моего зеленаго
Пролегала дороженька
Широкимъ не широкая,
Только очень пробоиста.
Такъ по той дороженькѣ
Дочь отъ матери уѣхала и пр.

И далѣе развертывается содержаніе пѣсни, гдѣ пѣвица поставила себя въ воображаемое положеніе дочери, бѣдной къ матери.

Случай изъ творчества Пушкина. Наводненіе въ Петербургѣ и два документа поэтическаго движенья мысли, „Мѣдный всадникъ“ и „Родословная моего героя“, даютъ возможность возсоздать общую схему сложнаго метонимического процесса творчества: отъ наводненія къ основателю города, къ его реформамъ, отъ реформъ—къ судьбѣ древнихъ боярскихъ родовъ и въ частности судьбѣ захудалаго потомка Езерскихъ.

Метонимичность процесса пониманія, пользованія готовымъ образомъ или процесса созданія образа будетъ наблюдатьсѧ въ томъ случаѣ, когда независимо отъ иносказательности—типичности (синекдоха) и отъ иносказательности въ болѣе узкомъ смыслѣ слова (метафоричность), образъ вызываетъ въ насъ рядъ представлений, чувствъ или совѣтъ иного рода, чѣмъ тѣ, которыя вызваны были бы соотвѣтствующею дѣйствительностью, или же съ меньшей силой.

Первый случай можно видѣть въ извѣстномъ стихотвореніи въ прозѣ Тургенева „Деревня“. Здѣсь метонимичность мысли самаго автора, вызванной описаніемъ, навязывается и читателю: „И думается мнѣ (при созерцаніи довольства деревенской жизни и пр.): къ чему намъ тутъ и кресть на куполѣ Святой Софии въ Царь-Градѣ, и все, чего такъ добиваемся мы, городские люди“. Намъ, конечно, лично думается и другое.

Знаменитое описание красоты Елены Спартанской у Гомера по впечатлѣнію, произведенному ею на старцевъ, отмѣченное Лессингомъ, какъ вѣрный художественный приемъ художника, скрупульто на прозаической перечисленіи статей красавицы, намъ должно напоминать элементарную метонимию: *блѣдная* смерть.

Описаніе музыки Лемма (Дворянское гнѣздо, XXXIV гл.) по впечатлѣнію, произведенному на Лаврецкаго, послѣ первого объясненія съ Лизой: „Сладкая, страстная мелодія съ первого звука охватывала сердце: она вся сияла, вся томилась вдохновеніемъ, счастьемъ, красотою; она росла и таяла; она касалась всего, что есть дорогого на землѣ тайнаго, святаго; она дышала безсмертной грустью и уходила умирать въ небеса. Лаврецкій выпрямился и стоять, похолодѣлъ и блѣднѣлъ отъ восторга. Эти звуки такъ и впивались въ его душу, только что потрясенную счастьемъ любви; они сами пылали любовью“.—Только что пережитое чувство экстаза любви вошло цѣликомъ, какъ содержаніе музыки Лемма, причемъ моментомъ благопріятствующимъ было то обстоятельство, что Леммъ, по его словамъ, все зналъ: „Это удивительно, сказалъ онъ Лаврецкому: что вы именно *теперь* пришли; но я знаю, все знаю“.

Тотъ же художественный процессъ наблюдается въ живописи, когда художникъ *нейзажемъ* передаетъ свое *настроение*, въ музыкѣ, когда

въ звуковой гармонії и ритмъ композиторъ вызываетъ образы событий и явлевій человѣческой жизни, воспринимаемыхъ всѣми чувствами человѣка, когда мы видимъ музыку. Великолѣпный примѣръ метонимичаго процесса мысли въ „Запискахъ охотника“—состязаніе пѣвцовъ въ трактирѣ. Интересно то мѣсто разсказа „Пѣвцы“, где разсказчикъ говорить о себѣ: „Помнится, я видѣлъ однажды вечеромъ, во время отлива, на плоскомъ песчаномъ берегу моря, грозно и тяжко шумѣвшаго вдали, большую бѣлую чайку: она сидѣла неподвижно, подставивъ шелковистую грудь алому сияюю зари, и только изрѣдка медленно расширяла свои длинныя крылья на встрѣчу знакомому морю, навстрѣчу низкому багровому солнцу; я вспомнилъ о ней, слушая Якова“. Здѣсь чистая метонимія. Но для спокойнаго читателя-наблюдателя возможно теченіе мысли и по другимъ направлениямъ, при частичномъ пользованіи отдѣльными моментами образа. О чѣмъ-то вспоминали и другіе слушатели Яшки, каждый по своему: и Дикій баринъ, и жена кабатчика, и кабатчикъ... Возможно, что Яшка, съ его пѣсней тоски, вызывалъ у читателя мысль о закреѣщенныхъ миллионахъ русскаго народа (синекдоха), и въ этой чайкѣ, собирающейся расправить крылья навстрѣчу солнцу, это многомиллионное крестьянство (метафора). Но это потомъ уже, а первое, что вошло въ душу слушателей—это настроеніе, связанное съ описанной картиной бурнаго моря, солнца и чайки на берегу.

Метонимію, сказали мы выше, можно видѣть въ томъ, что образъ, художественное произведеніе вызываетъ представлія, чувства съ менѣшой силой, чѣмъ тѣ, которыя вызваны были бы соотвѣтствующей дѣйствительностью. Эта метонимичность, такъ сказать, вышаго порядка, свойственна всякому художественному изображенію, это общее свойство всякаго поэтическаго образа. Сравните то впечатлѣніе, какое производить на васъ видъ умирающаго человѣка, со всѣми физическими признаками разрушающагося организма, съ изображеніемъ смерти въ „Живыхъ мощахъ“, съ описаніемъ смерти Базарова, съ описаніями смерти у такового послѣдовательнаго реалиста, какъ Л. Н. Толстой. Въ дѣйствительности, когда намъ самимъ приходится видѣть подобные моменты жизни, мы переживаемъ крайне тяжелое, подавляющее, крайне непрѣятное чувство, впечатлѣніе чего-то отвратительнаго. Но всѣ эти ужасы мы сравнительно легко переживаемъ, легко отдѣляемся, благодаря художественной идеализаціи, которая въ данномъ случаѣ есть не что иное, какъ метонимія.

У Вересаева (Смидовича) есть любопытный этюдъ, въ основѣ которого лежитъ цѣнное наблюденіе надъ психологіей читателя. Нѣсколько односторонне, но все-таки правдиво освѣщена въ немъ эмоціальная, и, пожалуй, этическая сторона занимающаго нась явленія. Художественное изображеніе очень многихъ вещей, явленій есть замѣна чудными звуками, красивыми словами, сильными словами самой горе-горкай дѣйствительности, ужасовъ жизни, какъ всякое отдѣльное слово замѣняетъ для нась сочное содержаніе мысли. Эта метонимія представляеть для нась большое удобство. Но какія послѣдствія вытекаютъ изъ этого удобства? Вотъ въ извлечении мысли литератора Осокина, героя упомянутаго этюда: „На эстрадѣ“ (Маловѣроятный случай).

„Чѣмъ я заслужилъ восторги и оваци? Идетъ рать бойцовъ за великое освободительное дѣло. Я рядовой этой рати... ну, можетъ быть, одинъ изъ ея... барабанщикъ, что-ли? Вы благодарите за чудные звуки; за наслажденіе „прелестными произведеніями“. Вы ошиблись адресомъ—

идите къ тѣмь, для кого эти „чудные звуки“—цѣль и высшая правда; для меня они—высшая ложь, самое ужасное проклятие искусства. Вы благодарите за добрыя чувства... Сила искусства не въ этомъ. Проклятая и развращающая сила искусства въ томъ, что оно всякое чувство, всякое душевное движение, вызываемое дѣйствительностью, перерождаетъ и уродуетъ самыи невѣроятныи образы. Художникъ замахивается на жизнь бичами и скорпионами, но, въ моментъ удара, его бичи и скорпионы превращаются въ мягкия гирлянды душистыхъ ландышей... Подобно буферу вагона, искусство даетъ человѣку возможность легко и пріятно переживать всѣ самые тяжелые душевые толчки. Вотъ за это буферное дѣйствие искусства вы и благодарите... Конечно, вѣсъ привлекаетъ не красота... Мы вамъ даемъ возможность переживать чувства посильнѣе и по-пріятнѣе чисто эстетическихъ. Вы переживаете съ нами два самыхъ высшихъ счастья:—счастье борьбы и всезахватывающей любви къ человѣчеству. И какъ дешево можно получить отъ насъ это счастье... для этого не нужно ни любить, ни бороться... При томъ счастье это, обработанное нами, такъ гладко, тепло, комфорtabельно. Въ жизни оно гораздо болѣе шероховато и болѣе жгуче. Раненый боецъ,увѣряю васъ, совершенно не замѣчаетъ своей красивой позы, а только ощущаетъ ужасно непріятную боль въ ранѣ; когда человѣкъ гибнетъ въ правой борьбѣ, онъ вовсе не окружень тѣмъ всеобщимъ сочувствіемъ, которое возбуждается къ нему въ читателяхъ нашимъ изображеніемъ этой борьбы...

Художники, начиная съ Толстого, Гюго, Достоевскаго и кончая нами, малыми,—дали вамъ легко и пріятно пережить самыя тяжелыя катастрофы душевныя. И вы ими пресытились... Вы устали бороться, не боровшись, вы устали любить, не любивши. Вы все пережили бездѣятельнымъ чувствомъ,—и что же дивиться, что въ суровой жизни вы скисаетесь быстрѣ, чѣмъ молоко во время грозы“.

Вѣрное, какъ частный случай изображенія дѣйствія искусства на психику читателя, оно, какъ обобщеніе, распространяемое на всѣ случаи пользованія поэтическимъ образомъ, будеть большой неправдой. Создавая опредѣленное настроеніе, вызывая различные эмоціи, художественные образы (Хижина дяди Тома, Записки охотника, напримѣръ) тѣмъ самыи могутъ вліять и на волю, будить мысль и призывать къ активной, дѣятельной любви къ ближнему. Литература можетъ замѣнить жизнь при исключительныхъ условіяхъ, которая нельзя считать нормальными, что можетъ быть характерно для огромной массы русской читающей публики, но при обычномъ, нормальному пользованіи ея продуктами, она сосредоточиваетъ мысль, усиливаетъ чувство, рождаетъ желанія и стремленія, воплощающіяся въ дѣятельности.

Третій видъ элементарной поэтической образности, *метафора*, въ ряду пріемовъ образованія новыхъ словъ въ языкѣ занимаетъ мѣсто наравнѣ съ синекдохой и метониміей. Есть основаніе думать, что при миѳическомъ состояніи мысленія метафора сливалась съ метониміей и синекдохой, порождая миѳическую представлениа объ одушевленности всѣхъ явлений міра, вызывая творческую работу созданія сложныхъ миѳовъ. Разстоянія между человѣкомъ и растеніемъ, горой, животнымъ или не было совсѣмъ, или оно было весьма незначительно въ сознаніи человѣка. Метафоры въ собственномъ смыслѣ не могло быть, когда деревья шептались, говорили не

въ переносномъ смыслѣ, когда вѣтеръ дышалъ, мѣсяцъ рождался и умиралъ. Съ развитіемъ критической мысли, навыка отдѣлять себя отъ окружающей жизни, метафора заняла надлежащее ей мѣсто.

Аристотель всякое перенесеніе слова отъ одного значенія къ другому называетъ метафорой и различаетъ четыре ея вида: 1) отъ рода къ виду, 2) отъ вида къ роду, 3) отъ вида къ виду и 4) по аналогіи. Первые два вида, очевидно, составляютъ синекдоху; третій видъ есть метонимія, а четвертый есть метафора въ собственномъ смыслѣ: (перенесеніе), применение *посторонняго* имени къ предмету *по сходству*. Слѣдовательно, метафора предполагаетъ сравненіе прежде познанного и вновь познаваемаго, сопровождаемое анализомъ, отыскиваніемъ общаго.

Новое слово, новая мысль добывается съ нѣкоторой затратой силъ, и нигдѣ такъ не очевидно, какъ именно въ метафорѣ, что поэтическій образъ есть эвристический способъ нахожденія новой мысли. Всякая метафора представляетъ движение мысли, которое, по Аристотелю, можно представлять въ видѣ пропорціи съ четвертымъ неизвѣстнымъ, требующимъ названія, искомымъ. Чтобы назвать *старость вечеромъ жизни*, нужно сравнить *жизнь* человѣка съ днемъ, вечеръ съ заключительнымъ моментомъ жизни. Получится: искомое (Х) составляетъ такую часть жизни (А), какую часть дня (С) всегда составляетъ вечеръ (В). Быстрота, съ какою совершается процессъ сравненія и выданія общаго, заставляетъ думать о непосредственности, о томъ, что человѣкъ какъ будто не отыскивалъ метафоры, а она сама напросилась. Эта иллюзія происходитъ отъ того, что въ языкѣ, уже сложившемся, имѣется огромный запасъ метафоръ, которыхъ мы не замѣчаемъ, но которыя создаются какъ бы проторенные тропинки, направляющія мысль отъ одной метафоры къ другой, отъ одного тропа къ другому. Для того чтобы легко получить метафору „хоть каплю эласности храня“, надо, чтобы въ языкѣ уже была синекдоха „ни капли“ въ смыслѣ *ничтожнаго количества*, существовало представленіе о капляхъ дождя, орошающихъ сухую, жадную землю, чувствовалось представленіе о жаждѣ и утоленіи ея, горѣ и утѣшеніи и связь между ними, опять-таки данная въ языкѣ. Скрытая въ языкѣ энергія наталкивается на троны, и мы почти безсознательно пользуемся ими. Въ рѣчи всякое слово можетъ быть метафорой. Въ самыхъ обыкновенныхъ, ставшихъ давно прозаическими выраженіяхъ, при извѣстной дозѣ простого вниманія, мы найдемъ метафору: горный хребеть, привязанность, необузданній, печаль, замкнутость, запальчивость, взвѣшивать слова, разсѣянность, пониманіе (поймать), неуловимый, окрыситься, осовѣть и т. п. Но въ огромномъ большинствѣ случаевъ метафора чувствуется только въ связной рѣчи, въ сочетаніи словъ: *крыло*—крыло войска, крылья мельницы; *золотить*—ся: нива золотилась, позолотить пилью; *цѣпь*—цѣпь горь, цѣпь выводовъ, цѣпи семейной жизни; *ключъ*—найти ключъ къ дѣлу, ключъ къ счастью; *бородка*—бородка ключа, бородка пера; языкъ колодка, языкъ пламени, корень слова, корень ученія, корень преступленія, жало сомнѣнія, пробудить надежду, туманный взглядъ, радужная мечта и т. п. Во всѣхъ приведенныхъ случаяхъ метафора выражается какимъ-нибудь членомъ предложения: подлежащимъ, сказуемымъ, опредѣленіемъ. Но бываютъ случаи, когда метафора выражается цѣлымъ предложениемъ, независимымъ или подчиненнымъ, или нѣсколькими предложениями. Въ этомъ случаѣ мы имѣемъ уже сложную метафору, куда относятся сравненіе, уподобленіе, аллегорія, притча, басня и пр.

Будемъ ли мы имѣть простую метафору личнаго творчества или метафору, ставшую общимъ достояніемъ, общее свойство ихъ—необходимость контекста. Метафоры, являющіяся достояніемъ опредѣленной групсы лицъ, образуютъ языкъ, подчасъ недоступный пониманію другихъ. Такъ, если говорять между собой бурлаки на Волгѣ, то въ ихъ рѣчи *щеки, рогъ, шея, хвостъ* и т. п. будуть имѣть опредѣленное метафорическое значеніе и безъ контекста: берега рѣки, мысъ, проливъ, конецъ острова по течению рѣки... Но по контексту и постороннему слушателю возможно догадаться: держи на островъ, къ хвосту, причалимъ у рога и т. п.

Отъ того, въ какомъ именно членѣ предложения заключена метафора, и какое мѣсто занимаетъ этотъ членъ, зависитъ многое; но общее правило таково: метафора въ одномъ членѣ предложения дѣлаетъ метафоричными прежде всего ближайшіе къ нему члены, все то цѣлое, которое нужно для его пониманія, и которое до сочетанія съ ней могло быть неметафорично: „Онъ молча проглотилъ обиду и покраснѣлъ“. „И прояснился темный умъ“. „Ель рукавомъ мнѣ дорожку завѣсила“. Здѣсь любопытно слѣдующее. Метафора въ сказуемомъ „проглотилъ“ бросаетъ, такъ сказать, тѣнь и на подлежащее и на дополненіе, и всѣ три слова составляютъ одно метафорическое цѣлое. Въ другихъ примѣрахъ одна метафора ведеть за собой другую настоящую метафору: метафора въ сказуемомъ „прояснился“ вызываетъ метафору въ опредѣлениѣ „темный“, которое, въ свою очередь, дѣлаетъ метафоричными свое опредѣляемое. Сказуемое „завѣсила“ дѣлаетъ метафоричными подлежащее „ель“, на что указываетъ дополненіе „рукавомъ“. — „Хоть каплю жалости храня“—метафора „каплю“ измѣняетъ значение своего дополненія *жалость*, отражающуюся въ сознаніи, какъ нѣкоторая жидкость, которую можно хранить въ сосудѣ; но на главное предложеніе—„вы не оставите меня“ метафора не распространяется.

„Не потерплю, чтобы развратитель огнемъ и вздоховъ и похвалъ младое сердце искушалъ“. Здѣсь *сердце* представляется металломъ, пробу которого находить посредствомъ огня. „И не проходить жаръ ланить, но ярче, ярче онъ горитъ“—метафора въ подлежащемъ подчиняетъ своему вліянію сказуемое. Да и вообще метафора въ предложеніи ближайшимъ образомъ оказывается вліяніе на свою пару, напр., опредѣленіе на свое опредѣляемое. Смѣхъ представляется чѣмъ-то горящимъ въ предложеніи: „Смѣхъ неугасимый возникъ среди блаженыхъ“.

Такая форма метафоры, когда она выражается цѣлымъ предложеніемъ или цѣлымъ рядомъ ихъ, и когда образъдается рядомъ со значеніемъ, выраженнымъ прозаически, называется сравненіемъ или иначе: когда рядомъ съ обычнымъ представленіемъ и его выраженіемъ ставится другое представление и выражение менѣе обычное, болѣе чувственное и наглядное. При метафорѣ, по мнѣнію Вакернагеля, въ собственномъ смыслѣ это *обычное* совсѣмъ устраивается, и его мѣсто занимаетъ это необычное, болѣе наглядное. Но это не совсѣмъ такъ. Во многихъ случаяхъ и обычное выражение остается въ метафорѣ. Возьмемъ примѣръ: „Молодой мѣсяцъ сиялъ не небѣ, точно золотой серпъ“—сравненіе. А вотъ метафора: „На небѣ сиялъ золотой серпъ молодого мѣсяца“; здѣсь обычное слово *мѣсяцъ* остается при метафорѣ *серпъ* въ качествѣ дополненія. Среднее мѣсто между приведенными оборотами рѣчи занимаетъ такой оборотъ: „Золотымъ серпомъ сиялъ на небѣ молодой мѣсяцъ“, гдѣ творительный падежъ „золотымъ серпомъ“ есть особая синтаксическая форма сравненія—„какъ золотой серпъ“.

Разстояніе между метафорой въ сравненіи съ *какъ* и т. п. и метафорой въ отдельномъ членѣ предложения, опредѣленіи, дополненіи, (въ творит. пад.), нарѣчіи можетъ быть очень невелико. Изъ народной пѣсни: „Поцѣлу да въ туу губоньку да золотую, да въ той усочокъ, якъ колосочекъ“: эпитетъ золотую и сравненіе, *какъ колосочекъ*—дѣй различныя формы метафоры. Метафора въ такомъ сравненіи съ *какъ* вліяетъ на метафоры въ главномъ предложеніи въ такомъ, напр., примѣрѣ: „Какъ раний плодъ, лишенный сока, душа увяла въ буряхъ рока подъ знайнымъ солнцемъ бытія“, если думать, что образъ плода явился прежде въ сознаніи, чѣмъ парное сочетаніе „душа увяла“. Но могло быть и такъ, что „душа увяла“ было первымъ, и тогда метафора въ сравненіи явилась результатомъ вліянія на мысль этого „увяла“. Большинство сравненій стоять при опредѣленіяхъ и сказуемыхъ: „И кудри ихъ бѣлы, какъ утреній снѣгъ!“ „Онъ (ангель) былъ кротокъ, какъ надежда“. „И горъ зубчатые хребты причудливые, какъ мечты“. Метафора въ приложеніи. „И тайну сердца своего, завѣтный кладъ и слѣзъ и счастья, хранить безмолвно“ при сравненіи „какъ завѣтный кладъ“ тяготѣть уже къ сказуемому: „И погнувшись изба, какъ старушка, стоять“—сравненіе при сказуемомъ.

Поэтическія сравненія, необходимыя не для одного только перебоя звуковъ, подчиняются общему закону, какъ и при созданіи новаго слова по метафорѣ: *знакъ*, т. е. представлѣніе берется изъ ближайшей вѣщней и внутренней обстановки. Но для того, чтобы взять то или другое, тотъ или другой образъ, нужно, чтобы это искомое (значеніе) существовало въ нашей мысли въ видѣ темы или вопроса, хотя бы неяснаго и темнаго. Въ разсмотрѣнныхъ случаяхъ сравненій, при извѣстныхъ членахъ предложения эта тема чувствуется въ самомъ контекстѣ главного предложения: Изба стѣ... ~~погнувшись~~, какъ что? „Подъ нимъ Казбекъ... снѣгами вѣчными сялъ“, какъ что?—„Какъ грань алмаза“.

Въ случаяхъ сравненія болѣе сложныхъ ближайшіе поводы выбора образа, съ одной стороны, и толкованія, съ другой, могутъ быть различны. „Какъ красиво, подумалъ Левинъ, глядя на странную, точно перламутровую раковину изъ бѣлыхъ барашковъ-облачковъ. Какъ все прелестно въ эту прелестную ночь! И когда успѣла образоваться эта раковина?—Да, вотъ такъ-то, незамѣтно измѣнились и мои взгляды на жизнь“.—Т. е. явленіе вѣщней природы случайно привлекаетъ къ себѣ вниманіе, независимо отъ господствующаго въ данную минуту интереса къ другимъ явленіямъ жизни, которымъ будетъ направлено толкованіе, примѣненіе этого образа природы. Для Л. Н. Толстого это очень характерно: образъ впереди, а затѣмъ его толкованіе. И небольшой его этюдъ „Люцернъ“ и такое крупное историческое полотно, какъ „Война и міръ“, представляютъ ту же схему: отъ образа къ примѣненію, отъ конкретнаго художественнаго изображенія къ послѣдованию.

Этотъ процессъ, нѣсколько въ другомъ видѣ, наглядно иллюстрируется интереснымъ примѣромъ изъ того же произведения „Анна Каренина“. Тутъ налицо и вопросъ, возникающій во время разговора, прерывающій ходъ мысли, ближайшій поводъ выбора, и самый выборъ образа изъ ближайшей вѣщней обстановки, изъ воспоминаній подъ вліяніемъ этого хода мысли, и толкованіе этого образа.

„А какимъ образомъ знаніе сложенія и вычитанія и катехизиса поможетъ ему (народу) улучшить свое материальное положеніе, я никогда не могъ понять. Я третьего дня встрѣтилъ бабу съ груднымъ

ребенкомъ... къ бабкѣ ходила, на мальчика крикса напала... бабка ребеночка къ курамъ на нашестъ сажаетъ и приговариваетъ что-то“...

Ну, вотъ, вы сами говорите! Чтобы она не носила лѣчить криксе на нашестъ, для этого нужно... весело улыбаясь, сказалъ Свияжскій.

— Ахъ, нѣть! Съ досадой сказалъ Левинъ: это лѣченіе для меня только подобіе лѣченія народа школами...

Характерный случай этого исканія образа представляеть народная пѣсня сербская и русская: это, такъ называемое, отрицательное сравненіе. Образу предшествуетъ вопросъ въ формѣ восклицанія: „Милый Боже, великое чудо!“ Затѣмъ идеть рядъ объясненій въ формѣ вопросительной: Или громъ гремитъ, или землетрясеніе случилось, или море бѣется о свои берега? Затѣмъ отрицаются всѣ три предположенія и идеть то, что мы называемъ значеніемъ: „это святые на небѣ распредѣляютъ между собой завѣдываніе дѣлами міра“.

Нѣсколько въ другой формѣ начало пѣсни: Рядомъ росли двѣ сосны (два бора—муж. рода), между ними тонковерхая ель. То не двѣ сосны и не тонковерхая ель, то были два родныхъ брата“ и пр. Т. е. образъ ставится положительно, какъ непосредственное воспріятіе, затѣмъ, какъ бы въ силу того, что дѣло разсмотрѣно вновь и лучше, онъ отрицается съ тѣмъ, чтобы на его мѣсто поставить значеніе. Въ русской народной поэзіи сравненіе начинается прямо съ отрицанія тождества образа со значеніемъ:

„Не бѣлы то снѣги забѣлѣлися.

Moего ль то друга каменны палаты“.

При разсмотрѣніи случаевъ сложнаго сравненія, надо различать два вида, смотря по расположению объясняемаго (значенія, толкованія) и объясняющаго (образа изъ окружающей обстановки): 1) или образъ прежде, а значеніе, толкованіе послѣ, 2) или сначала значеніе, а потомъ образъ. Это различие имѣть большое значеніе, такъ какъ въ процессѣ творчества, созданія сложныхъ поэтическихъ произведеній препозитивность или постпозитивность образа отражается на всемъ характерѣ произведенія. Въ частности цѣлый рядъ поэтическихъ произведеній характеризуется тѣмъ, что въ нихъ проявляется постпозитивность (въ поэмахъ Гомера, напримѣрь); въ малорусской народной поэзіи преобладаетъ почти исключительно препозитивная метафора—сравненіе. Благодаря этому различію, могутъ быть разграничены цѣлые группы художественныхъ произведеній по писателямъ, по народности. Извѣстный ходъ мысли, извѣстное общее настроеніе обусловливаютъ всегда ту или другую форму поэтическаго произведенія.

Если образъ постпозитивенъ, то онъ болѣею частью является воспоминаніемъ и носить характеръ обобщенія. Воспоминанію этому придается большая или меньшая конкретность, не доходящая однако до отождествленія этого образа съ выражениемъ непосредственного воспріятія дѣйствительности. При разсказѣ о томъ, какъ такой-то герой паль, сраженный ударомъ врага, слушатель Гомера вспоминаетъ, благодаря сравненію, какъ падаетъ ель, подрубленная дровосѣкомъ, и это воспоминаніе обобщаетъ явленіе смерти.

Если образъ препозитивенъ, то онъ часто носить характеръ непосредственного воспріятія частнаго случая, онъ является, такъ сказать *наличнымъ впечатлѣніемъ*, ведущимъ мысль къ значенію. При этомъ важно то, выражено ли отношеніе образа къ значенію лексически, посредствомъ сравнительного союза, или это отношеніе выражено простымъ сопоставленіемъ. Если образъ постпозитивенъ, стоитъ послѣ значенія, то отношеніе это обязательно будетъ выражено и грамматически (какъ—такъ, или

одно „такъ“). Если же образъ предшествуетъ, то наблюдается художественный пріемъ—безсоюзіе (*asyndeton*), и въ народной славянской поэзіи этотъ пріемъ преобладаетъ не потому, что сравнительныхъ союзовъ не было въ языке, а потому, что этой формѣ отдается предпочтеніе; при этомъ и образу, доставшемуся по преданію, изъ воспоминанія, придается значеніе непосредственного воспріятія, какъ будто это видѣть, слышать самъ говорящій, пѣвецъ или пѣвица.

Конкретность образа, непосредственность воспріятія, если образъ данъ преданіемъ (по традиції употребляется), а не свѣжимъ воспріятіемъ, достигается различными средствами. Напримѣръ, олицетвореніемъ и обращеніемъ къ нему, какъ къ лицу:

Грушица моя, чѣмъ ты не зеленая!

Милая моя, чѣмъ ты не веселая?

Еще большей конкретности мысли достигаютъ изображеніемъ лица, которое идетъ, видитъ или дѣлаетъ то или другое, или изображеніемъ того, что оказывается лишь символомъ лица или состоянія его, въ видѣ дѣйствительной обстановки этого лица или декорациі.

Сюда относятся частыя начала въ народныхъ пѣсняхъ, малорусскихъ въ особенности: ой піду я... ой сяду я... ой стану я... ой зайду я“ и т. п. Здѣсь изображается какъ бы путь, которыми пѣвецъ или пѣвица приходитъ къ возможности вспомнить традиціонный образъ „зеленаго луга“—милаго друга, „калины въ саду“—символъ дѣвушки, „кукушки въ лѣсу“—символъ тоскующей женщины и т. п. Чтобы дойти до традиціоннаго образа несчастливаго брака, неудачной пары (ведро съ *сосновыми* клепками и *дубовыми* дномъ или „*сопилка изъ барвінка*, а дно орѣховое, значитъ *nepara*), пѣсня начинается такъ:

Изъ-за гори изъ-за кручи скриплять вози йдучи,

Вози скриплять, ярма риплять, воли ремигкаютъ,

Попереду мій миленький у *copilochku* грае.

А далѣе символъ традиціонный и его значеніе—несчастная любовь. Кто замѣтилъ, какое впечатлѣніе производить во время вѣтра скрипъ дерева, напр., когда одно трется о другое, тотъ пойметъ естественность сравненія, заключающаго въ себѣ, можетъ быть, непосредственное воспріятіе въ пѣснѣ:

Заскриплю деревцо а у лугу стоячи,

Заплакала удова своего сына годуючи.

Но въ слѣдующей пѣснѣ плачущая дѣвица *какъ бы* не сравнивается со скрипящей липой, а сажается подъ эту липу:

Скрипила липонъка скрипила,

Підъ нею Марысенька сидила,

Просилася въ матінки и въ отца:

„Недайте мене за вдовця“.

Здѣсь символъ лица (скрипящая липа) изображается въ видѣ обстановки.

Какое значеніе имѣютъ эти наблюденія для опредѣленія пріемовъ творчества писателей художниковъ, техники создания сложныхъ произведеній? Стоять вспомнить хотя бы Гоголевское описание жилища и обстановки Собакевича, где все окружающее вплоть до дрозда (своебразная Гоголевская гипербола) символизируетъ обитателя, чтобы убѣдиться въ томъ, что мы имѣемъ здѣсь вариацию художественного пріема, только что нами указанного (обстановка какъ бы превращается въ символъ). Пріемъ описанія, символизирующего характеръ лица, события очень распространены въ художественной литературѣ. Все художественное произведеніе,

будеть ли оно заимствовано, представлять ли оно подражаніе, переработку доставшагося по преданію или рядъ непосредственныхъ наблюдений надъ дѣйствительностью, цѣликомъ, какъ образъ—синекдоха или образъ—метафора, представляется въ началѣ, о чёмъ, мы уже говорили выше по по-воду метониміи, какъ-бы фактъмъ непосредственного воспріятія. Такъ обыченъ пріемъ у Тургенева въ его мелкихъ повѣстяхъ и рассказахъ. Собрались такія-то лица, разговаривали, вспомнили, а затѣмъ слѣдуетъ разскажать. Часто очень встрѣчается: „По дѣламъ службы или по частному личному дѣлу я приѣхалъ туда-то“, и затѣмъ идеть изображеніе видѣннаго, слышаннаго. Чтобы нарисовать галерею типовъ русскихъ помѣщиковъ и губернскій Олимпъ, Гоголь приѣзжаетъ къ содѣйствію Чичикова, переѣзжающаго съ мѣста на мѣсто и знакомящаго нась съ цѣлой вереницей характеровъ. Все это, въ смыслѣ пріемовъ изобразительности,—явленія одного порядка съ элементарными пріемами въ народной пѣснѣ.

Возвращаясь къ пріемамъ сравненія, мы найдемъ у Л. Н. Толстого, напр., прекрасный примѣръ образа, можетъ быть, ставшаго уже давно традиціоннымъ для автора „Рубки лѣса“, „Набѣгъ“, „Севастополя“, который въ сравненіи данъ первымъ, какъ непосредственное воспоминаніе Пьера Безухаго: „Иногда Пьеръ вспоминаль о слышанномъ имъ раз-сказѣ, какъ на войнѣ солдаты, находясь подъ выстрѣлами въ прикрытии, когда имъ дѣлать нечего, старательно изыскиваютъ себѣ занятіе, для того чтобы легче переносить опасность. И Пьеру всѣ люди представлялись такими солдатами, спасающимися отъ жизни: кто честолюбiemъ, кто картами или женщинами, кто игрушками, кто лошадьми, кто политикой, кто охотой, кто виномъ, кто государственными дѣлами“. „Нѣть ни ни-что-наго, ни важнаго, все равно: только бы спастись отъ *нея* (жизни), какъ умѣю“, думалъ Пьеръ: „только бы не видѣть *ее*, эту страшную *ее*“.

Образъ будить мысль, вторгаясь въ ея ходъ, онъ рождаетъ обобщеніе о людяхъ-солдатахъ или, по меньшей мѣрѣ, углубляетъ и расширяетъ содержаніе волнующихъ героя думъ о себѣ и своемъ отношеніи къ жизни. Не то мы видимъ въ случаихъ постпозитивности образа, въ гоме-ровскихъ, гоголевскихъ сравненіяхъ. Образъ слѣдующій за значеніемъ, за тѣмъ, что онъ поясняетъ, носить характеръ воспоминанія, хотя, въ сущности говоря, все, что бы ни говорили, является воспоминаніемъ, какъ въ приведенномъ только что примѣрѣ изъ „Войны и мира“. Но если онъ все-таки данъ прежде и какъ наличное переживаніе, которое какъ бы невольно вызываетъ мысли общаго характера (думы Пьера о жизни), то онъ приобрѣтаетъ характеръ чего-то какъ бы невольно подсказывающаго, внезапно освѣщающаго нѣчто неясное, трудно выразимое инымъ способомъ; онъ является болѣе легкимъ, болѣе точнымъ, болѣе экономнымъ способомъ выраженія мысли. Прекрасную иллюстрацію необходимости метафоры вообще, поясняющую и только что высказанное, представлять слѣдующее мѣсто изъ „Войны и мира“. Наташѣ Ростовой нужно выразить сложные и смутные ряды мыслей, возбужденныхъ множествомъ дѣйствій, словъ, наблюдений мимолетныхъ. И вотъ она въ разговорѣ съ матерью старается дать себѣ отчетъ во впечатлѣніи, произведенномъ на нее Борисомъ Друбецкимъ и Пьеромъ Безухимъ: „Мама, а онъ очень влюбленъ (Борисъ Д.)? Какъ на ваши глаза?.. И очень миль, очень, очень миль! Только не совсѣмъ въ моемъ вкусѣ: Онъ узкій такой, какъ столовые часы... Вы не понимаете? Узкій, знаете, стрійый, свѣтлый“.—„Что ты врешь?“ сказала графиня. Наташа продолжала: „Неужели вы не понимаете?

Николенька (брать) бы понялъ... Безухій тотъ синій, темносиній съ красивымъ, а онъ (Борисъ) четвероугольный... Нѣть, онъ франкмасонъ, я узнала. Онъ славный, темносиній съ красивымъ... Какъ вамъ растолковать...

Этого растолковать, пожалуй, нельзя, какъ невозможно разсказать душу, но понять это возможно тому, кто настроенъ гармонично съ говорящимъ, благодаря однороднымъ впечатлѣніямъ жизни, постоянному обмену мыслей... Выдумать сближеніе человѣка съ часами и темносинимъ съ красивымъ нельзя, оно дѣйствительно произошло тамъ гдѣ-то въ глубинѣ неразложенныхъ воспоминаний. Тутъ образъ естественъ и необходимъ, и понятенъ для ограниченного круга лицъ. Но когда нарочито выдумываются сближенія, нарочито доступныя узкому кругу лицъ, тогда мы наблюдаемъ извращеніе этого естественного явленія въ погонѣ за новыми символами, свѣжими эпитетами литературнаго импресіонизма, декаденствующаго символизма.

Посмотримъ, что даютъ мысли сравненія постпозитивного характера. Интенсивность дѣйствія образа, следующаго за значеніемъ, гораздо слабѣе: онъ не будить внезапно дремавшей мысли, не вліяетъ на ея ускореніе въ решеніи предстоящей задачи, запутаннаго вопроса; онъ задерживаетъ мысль, останавливаетъ ее, чтобы сосредоточить вниманіе и дать нѣкоторый раздѣлъ, успокоеніе мысли.

Смѣнить не разъ младая дѣва
Мечтами легкія мечты;
Такъ деревцо свои листы
Мѣняетъ съ каждою весною...

Или: „Недвижимъ онъ лежаль, и странентъ
Быль томный миръ его чела...
Теперь, какъ въ домѣ опустѣломъ,
Все въ немъ и тихо и темно...
Закрыты ставни, окны мѣломъ
Забѣлены—хозяйки нѣть,
А гдѣ, Богъ вѣсть! Пропалъ и слѣдъ.

Въ гомеровскихъ сравненіяхъ мысль иногда задерживается тѣмъ обстоятельствомъ, что большое количество чертъ образа остается, такъ сказать, безъ употребленія, не служить непосредственно для объясненія предмета или явленія¹⁾, вызвавшаго воспоминаніе объ образѣ, данномъ въ сравненіи. Эти распространенные гомеровскія сравненія, отвлекающія мысль слушателя далеко отъ поединковъ и проткновенія затылковъ острою мѣдью въ сферу мирныхъ дровостѣковъ, пасѣчниковъ, пастуховъ съ ихъ мирными занятіями, нeliшенныя особой художественной прелести, имѣютъ свое значеніе въ общемъ характерѣ гомеровской поэзіи.

Какъ Зевсъ, утомленный битвами, обращаетъ свои взоры въ страну

1) Быль Одиссей несказанно растроганъ, и рѣсницы его оросились слезами.

Такъ сокрушенная плачетъ вдовица надъ тѣломъ супруга,
Падшаго въ битвѣ упорной у всѣхъ впереди передъ градомъ,
Силясь отъ дня рокового спаси согражданъ и семейство,
Видя, какъ онъ содрагается въ смертной борьбѣ, и прижалвшись
Грудью къ нему, злополучная стонетъ; враги же, нещадно
Древками копій ее по плечамъ и хребту поражая,
Бѣдную въ плѣнь увлекаютъ на рабство и долгое горе;
Такъ отъ печали и плача ланиты ея увядаютъ,
Такъ отъ печали текли изъ очей Одиссеевыхъ слезы.

мирныхъ мужей кондойцевъ Фессаліи, слушатель отвлекается отъ главнаго течения разсказа, волненіе, вызванное этимъ главнымъ, успокаивается. Эти сравненія хороши еще и потому, что они просты и *необходимы*, какъ прямое послѣдствіе естественной медленности течения мысли, свойственной архаической поэзіи. Хороши они еще и потому, что, изображая необычныя для мирныхъ слушателей сцены битвъ, сравненія черпаютъ свое содержаніе изъ обстановки жизни, знакомой слушателямъ, такъ какъ цѣль образности не столько простое усиленіе впечатлѣнія, сколько приближеніе изображаемаго къ нашему пониманію. Надо полагать, что аудиторія Гомера хорошо была знакома съ пчелами, рубкой лѣса, приготовленіемъ сыра и пр. Изъ писателей позднѣйшихъ временъ, характеризуемыхъ болѣе быстрымъ теченіемъ мысли, мы встрѣчаемъ умышленное замедленіе рѣчи такими распространенными сравненіями у Гоголя, очевидно, подражавшаго въ данномъ случаѣ Гомеру. Гоголевскія сравненія (Ноздревъ кричалъ какъ поручикъ во время приступа... Фраки на балу мелькали, какъ мухи на рафинадѣ... Чиновники были ошеломлены, какъ школьнікъ, которому засунули въ носъ гусара и т. п.) заставляютъ насъ совершенно забыть о предметѣ, ихъ вызвавшемъ. Это—настоящія лирическія отступленія, и вмѣстѣ съ гоголевскими описаніями природы они, дѣйствительно, отвлекаютъ читателя отъ главнаго и даютъ возможность позабыть на время и Плюшкиныхъ, и Собакевичей, и Ноздревыхъ, „выйти изъ душного погреба“.

Въ лирикѣ образной часто встрѣчаются сравненія въ формѣ строгаго параллелизма образа и значенія, какъ напр. въ стихотвореніи Тютчева:

Смотри, какъ облакомъ густымъ
Фонтанъ сіяющій клубится,
Какъ пламенѣеть, какъ дробится
Его на солнцѣ влажный дымъ...

А затѣмъ: О смертный мысли водометъ!

О водометъ неистощимый, и пр....

Сюда можно отнести двойную басню, въ которой рядомъ съ образомъ-басней (Утыкавши себѣ павлинімъ перъемъ хвостъ, Ворона...) идетъ изображеніе отдельного случая изъ человѣческой жизни (Матрона вышла замужъ за барона), который относится къ образу-баснѣ такъ, какъ единичное къ обобщенію.

Иногда сравненіе такъ проведено, что его совершенно не видно. Такъ, въ несомнѣнно лирическомъ стихотвореніи Пушкина „Пѣснь о вѣщемъ Олегѣ“ только два слова въ началѣ „Какъ нынѣ“, незамѣтно для читателя, намекаютъ на параллель невысказанную: Александръ I и Пушкинъ—Олегъ и кудесникъ, который не боится могучихъ владыкъ, и у которого правдивъ и свободенъ вѣцій языкъ и съ волей небесной друженъ... Въ другомъ случаѣ, въ стихотвореніи „Послѣдняя туча разсѣянной бури“ сравненія вовсе нѣтъ, намекъ на него чувствуется въ глагольныхъ формахъ: „несешься, печалишь... „Сокройся!“ Эти обращенія наводятъ на мысль объ иныхъ явленіяхъ жизни, переносятъ насъ въ сферу семейной, общественной или политической жизни. И достигается это здѣсь путемъ особаго рода сложной метафоры—*олицетвореніемъ*.

Эта фигура нерѣдко встрѣчается въ лирикѣ, прибѣгающей охотно къ архаическимъ приемамъ выраженія. Въ средніе вѣка и въ древности она была въ большомъ почетѣ въ книжной поэзіи. Путь къ олицетворенію намѣченъ самимъ языкомъ. Мужескій и женскій родъ существительныхъ,

глагольное сказуемое, приписывающее действие, состояніе всякому подлежащему, какъ действующему лицу,—вотъ основа, на которой легко возникаетъ олицетвореніе. Надо полагать, что при миѳическомъ состояніи мысли, когда сравненіе одушевленного съ неодушевленнымъ переходило въ тождество, того, что мы называемъ олицетвореніемъ, не было, ибо не было строгаго разграничія одушевленного отъ неодушевленного. Олицетворенія въ языкѣ мы не чувствуемъ, когда говоримъ „хандра напала“, „дума засѣла въ головѣ“. Оно явственнѣе, виднѣе въ такихъ случаяхъ, какъ „лѣнъ раньше его родилась“, „привязалось къ нему горе“. Личное творчество позднѣйшихъ временъ уже строить олицетворенія на основѣ языка въ томъ же направлении:

Задумчивость, ея подруга
Отъ самыхъ колыбельныхъ дней,
Теченье сельского досуга
Мечтами украшала ей“.

Или: Хандра ждала его на стражѣ
И бѣгала за нимъ она,
Какъ тѣнъ иль вѣрная жена. Пушкинъ.

Какъ получаются сложныя метафоры другого рода: басня, притча, аллегорія въ узкомъ смыслѣ слова? Если разсматривать явленія языка и поэзіи не въ словарѣ и въ сборникахъ поэзіи народной или личной, гдѣ они являются въ видѣ какихъ-то анатомическихъ препаратовъ, если изучать жизнь слова или поэтическаго произведения въ живой работѣ мысли, то дѣло представится въ слѣдующемъ видѣ. На вопросъ *каковъ* такой-то, *что онъ дѣлаетъ, какъ* и проч. мы услышимъ: это—*кремень, онъ толчетъ воду*, это *мужикъ-рукосуй, ловитъ въ мутной водѣ рыбу, сичомъ* смотрѣть, навалился *горой* и т. п. Отѣтомъ служить метафора въ части предложения, сравненіе—въ части сложнаго предложения и периода. Вопросы *почему* и *для чего*, *слѣдуетъ ли, должно ли*, т. е. вопросы о *причинѣ* и *цѣли* явленій человѣческой жизни таковы, что отвѣтить на нихъ прямо, прозаически, часто бываетъ невозможно. Искомое, неизвѣстное, по разясненію, остается лишь *отношеніемъ* мысленныхъ единицъ. Отвѣты на такие вопросы не вмѣщаются въ грамматическую форму предложения или сочетанія предложенийъ и составляютъ по отношенію къ вопросу нѣчто самостоятельное, безъ грамматическихъ *потому что, ибо*, требующихъ повторенія въ отвѣтѣ и вопроса. Если отвѣтъ на вопросъ *почему*, *для чего* будетъ метафориченъ, то мы получимъ сложную метафору: аллегорію, басню, притчу. Эти формы метафоры составляютъ какъ бы сложныя поэтическія сказуемыя къ невыраженнымъ подлежащимъ. Прекрасной иллюстраціей того, какъ живеть басня, служить извѣстное мѣсто въ „Капитанской дочкѣ“, Пушкина. Гриневъ совѣтуетъ Пугачеву прибѣгнуть къ милости государыни, покаяться. Для Пугачева возникаетъ вопросъ: *какъ быть, слѣдуетъ ли?* „Буду продолжать, какъ началь—Гришка Отрѣпьевъ вѣдь поцараповалъ же надъ Москвой“. Гриневъ напомнилъ Пугачеву, чѣмъ кончилъ Гришка.—„Слушай, сказалъ Пугачевъ съ какимъ-то дикимъ вдохновеніемъ. Расскажу тебѣ сказку, которую въ ребячествѣ миѣ рассказывала старая калмычка. Однажды орель спрашивалъ у ворона: скажи, воронъ-птица, отчего живешь ты на бѣломъ свѣтѣ триста лѣтъ, а я всего на все только тридцать три года.—„Оттого, батюшка, отвѣчалъ ему воронъ,—что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной“. Орель подумалъ: давай питаться и мы тѣмъ же. Хорошо. Полетѣли орель да воронъ.

Воть завидѣли палую лошадь; спустились и сѣли. Воронъ сталъ клевать да похваливать. Орель клюнулъ разъ, клюнуль другой, махнулъ крыломъ и сказалъ ворону: „Нѣть, братъ воронъ, чѣмъ триста лѣтъ питаться падалью, лучше разъ напитаться живой кровью; а тамъ—что Богъ дастъ!“ —Какова калмыцкая сказка?— „Затѣйлива, отвѣтилъ Гриневъ.— Но жить убийствомъ и грабежомъ значить, по мнѣ, клевать мертвчину (новое примѣненіе образа, неполное, частичное).—Пугачевъ посмотрѣлъ на него съ удивленіемъ и ничего не отвѣчалъ“.

Всеобщность этого пріёма мысли, его неизбѣжность на всѣхъ ступеняхъ культуры, умственного развитія, ясно видна изъ того, что къ ней прибѣгаеть и старая калмычка и культурный европеецъ. Пугачевъ иначе не могъ отвѣтить на вопросъ своего собесѣдника, какъ побасенкой; то же самое испытываетъ Короленко, Л. Толстой, Тургеневъ и другіе, когда прибѣгаютъ къ примѣру, параболѣ (Огоньки—Короленко). О Тургеневѣ Крапоткинъ говорить, что въ немъ жила постоянная потребность думать, отвѣчать образами. Разъ какъ-то поднять быль вопросъ о національныхъ особенностяхъ культурныхъ классовъ, о томъ, исчезаютъ ли они съ ростомъ цивилизациіи, или остаются. Тургеневъ, отстаивая свое мнѣніе, прибѣгнулъ къ образу и привѣлъ случай изъ своихъ наблюдений. Однажды ему пришлось, сидя въ одной ложѣ съ Гонкурами и другими членами ихъ литературной семьи, смотрѣть пьесу, сюжетъ которой состоялъ въ томъ, что семью, брошенную негодяемъ отцомъ, благородный человѣкъ, любившій покинутую женщину до ея замужества, сдѣлалъ своей семьей. Дѣти выросли, сынъ и дочь. Сыну, при случайной встрѣчѣ, законный отецъ-вымогатель, получивши отказъ однажды въ полученіи требуемой суммы, раскрылъ глаза въ отместку за свою неудачу. Юнецъ пылаетъ негодованіемъ. И воть въ ту минуту, когда мнимый отецъ хотѣлъ по обыкновенію пощѣловать мнимую дочь за утреннимъ столомъ, юноша съ крикомъ: „не смѣть!“—наносить ему тяжелое оскорблѣніе. Сосѣди по ложѣ пришли въ восторгъ отъ поступка молодого человѣка. „А я, сказалъ Тургеневъ, испытывалъ глубокое чувство возмущенія, негодованія“.

Въ данномъ случаѣ мы имѣемъ отвѣтъ на вопросъ: *какъ бываетъ?* Басня же въ ея дидактической формѣ любить отвѣтъ на вопросъ: *какъ бытъ?* И это подчеркивается въ значительной мѣрѣ нравоученіемъ, которое не составляетъ непреложной составной части ея. Нравоученіе, выводъ, „чemu учить басня“, является уже продуктомъ искусственного приспособленія басни къ дидактическимъ цѣлямъ.

Аллегорія въ тѣсномъ смыслѣ слова есть не только *сложная* метафора, но и *полная*, въ томъ смыслѣ, что она въ цѣломъ другого значенія, кромѣ метафорического, не имѣеть. Если хоть какая-нибудь часть этого цѣлаго не метафорична, это уже не будетъ аллегорія. Она создается, такъ сказать, ad hoc, только ради опредѣленного общаго значенія, которое дано напередъ. Въ аллегорію можетъ входить олицетвореніе, фантастичность ея не исключаетъ подробностей бытовыхъ, мѣстного и исторического колорита. Хотя *общее* значеніе въ ней дано напередъ, но для мысли она можетъ быть необходима, поскольку она даетъ частное определеніе общаго, конкретно его представляеть, за исключеніемъ, конечно, холодныхъ аллегорій, ненужныхъ. Прекраснымъ примѣромъ аллегоріи можетъ служить стихотвореніе Пушкина: „Телѣга жизни“:

Хоть тяжело подчაсь въ ней бремя,
Телѣга на ходу легка;

Ямщикъ лихой, съдое время,
Везеть, не слѣзеть съ облучка;
Съ утра садимся мы въ телѣгу
И рады голову сломать,
И презирая лѣнь и нѣгу,
Кричимъ: „пошелъ!...“
Но въ полдень нѣть ужъ той отваги,
Пораstryло нась, намъ страшнѣй
И косогоры и овраги...
Кричимъ: „полегче, дуралей!“—
Катить по прежнему телѣга.
Подъ вечеръ мы привыкли къ ней,
И дремля ёдемъ до ночлега,
А время гонить лошадей.

Въ самомъ стихотвореніи есть указаніе на значеніе—„ямщикъ—время“, но аллегорично оно потому, что оно все въ цѣломъ есть загадка, разгадка которой находится въ самомъ заглавіи „Телѣга жизни“, и другой разгадки, кромѣ указанной заглавіемъ, имѣть не можетъ.

Аллегорія есть развитіе и усложненіе сложной метафоры, наблюдалась въ народныхъ загадкахъ. Въ отличіе отъ другихъ видовъ сложной метафоры, народная загадка, какъ и аллегорія въ узкомъ смыслѣ слова, имѣть только одно метафорическое значеніе, одну разгадку: это значеніе въ ней также дано напередъ. Малорусская загадка „одно каже: світай, Боже; другое каже: не дай, Боже; третье каже: мені все равно“ имѣть только одно метафорическое значеніе, разгадку: окно, дверь, сколокъ. Она можетъ стать образомъ, поэтическимъ иносказаніемъ въ широкомъ смыслѣ слова, напримѣръ, будучи примѣнена къ отношенію различныхъ слоевъ общества къ реформамъ; въ такомъ случаѣ это уже не будетъ загадка, а аллегорія въ широкомъ смыслѣ слова.

Аллегорія, въ широкомъ смыслѣ слова, есть иносказаніе, обнимающее всѣ случаи образности, метафору, метонимию и синекдоху, и въ этомъ смыслѣ она, какъ поэтическая иносказательность вообще, является незамѣнимымъ и подчасъ единственнымъ средствомъ истолкованія дѣйствительности, постиженія ея.

Нами намѣченъ путь восхожденія отъ элементарныхъ формъ поэзіи до ея наиболѣе сложныхъ произведеній. Но наблюдается и обратное явленіе. Чтобы крупное поэтическое произведеніе стало отвѣтомъ на извѣстный сложный вопросъ по такой схемѣ, какъ только что разсмотрѣнная метафора, надо, чтобы оно отодвинулось въ даль, чтобы остались одни очертанія, а подробности исчезли. Тогда мы получимъ нѣчто похожее на басню (фабулу романа, драмы), которая въ свою очередь можетъ быть ската въ метафорическую пословицу или поговорку. Русская литература знаетъ много случаевъ, когда миллионъ размѣняется на гривенники, по мѣткому выражению Гончарова о комедіи „Горе отъ ума“, когда сложный поэтический образъ распыливается на мелкія образныя слова, входящія въ обиходъ мысли и жизни общества. Мы указывали уже раньше на важное изученіе элементарныхъ формъ поэзіи, троповъ и фигуръ, такихъ, какъ антономасія, эпитетъ, въ которыхъ отражается духъ эпохи, характеръ народа, создавшаго и пользующагося ими. Мы можемъ теперь добавить, что метафора, и ея ближайшая сложная форма, сравненіе, какъ и эпитетъ составляютъ въ высшей степени интересный документъ для изу-

ченія настроеній, взгляда, вкусовъ писателя того или другого времени, народа, и, слѣдовательно, общества того времени. Путь критики художественныхъ произведеній не отъ общихъ историческихъ схемъ, для которыхъ поэтическій образъ является тогда только иллюстраціей, а отъ этихъ мелкихъ элементарныхъ формъ, составляющихъ ткань образа, направлявшихъ мысль къ созданію цѣлаго. Въ этихъ элементарныхъ формахъ яснѣе сказывается то, чего мы ищемъ въ общемъ содержаніи сложнаго поэтическаго произведенія. Общая концепція художественного образа подсказываетъся приходящими въ него частными элементарными формами образной мысли.

Итакъ, синекдоха, метонимія, метафора, разсматриваемыя не какъ стилистические обороты рѣчи для украшения, усиленія впечатлѣнія, а какъ неизбѣжныя колеи, по которымъ движется мысль человѣческая, какъ пріемы образнаго мышленія, ставшіе безсознательными въ языкѣ, вродѣ грамматической формы, даютъ направленіе личному творчеству, превращаясь въ сложнаго поэтическаго формы. Образное мышление, другими словами, поэзія вообще, составляеть достояніе не только поэтовъ милостью Божіей, но и безымянныхъ поэтовъ милостью народа и самыхъ простыхъ смертныхъ. Оно эволюціонируетъ въ двухъ направленіяхъ: съ одной стороны, отъ типа миѳического, когда образъ и значеніе сливаются, смѣшиваются, когда преобладаетъ отождествленіе двухъ мысленныхъ единицъ (солнце=колесо, а значитъ есть спицы, кузовъ, сѣдокъ и пр.) къ типу поэтическому въ собственномъ смыслѣ, иносказательности, когда образъ и значеніе разграничиваются и между ними сознается лишь подобіе (*люди подобны волнамъ*, но волны не превращаются въ наядъ). Параллельно съ этимъ эволюціонируетъ и наука, освобождаясь отъ миѳологии: алхімія превращается въ хімію, астрологія смѣняется астрономіей и т. д.; съ другой стороны, мы видимъ, что элементарные поэтические пріемы рѣчи мысли, данные въ языкѣ, жизнь этихъ формъ эволюціонируетъ и порождаетъ сложные продукты народно-поэтическаго безымянного творчества и ведеть, направляеть личное творчество отдѣльныхъ лицъ, создавая иллюзію чего-то особаго индивидуального, независимаго, подобно тому, какъ существуетъ иллюзія свободы воли, благодаря счастливой способности человѣка забывать, что выше своего уха не прыгнешь.

Цѣнность сложныхъ художественныхъ произведеній опредѣляется наличностью основныхъ свойствъ простого образнаго слова. Подобно тому какъ въ каждомъ новомъ, образномъ словѣ въ моментъ его возникновенія, мы имѣемъ основаніе предполагать преобразованіе своей мысли посредствомъ конкретнаго, образа и пробужденіе въ другомъ аналогичной работы души; такъ въ каждомъ сложномъ поэтическомъ произведеніи мы видимъ прежде всего „усовершенствованіе плодовъ любимыхъ думъ“ при помощи болѣе сложныхъ образовъ, требующихъ болѣе сложныхъ словесныхъ построеній. Цѣль одна и также: при помощи единичнаго ограниченного словеснаго образа—знака создать сравнительно обширное значеніе. Если художественное произведеніе хорошо, если образъ крѣпко спитъ, то, заплативъ дань времени, онъ живеть въ вѣчности, переживаетъ время своего созданія цѣлыми столѣтіями, какъ образное слово въ языкѣ. Само собою разумѣется, что для того, чтобы жить „въ вѣкахъ“, мало простой изобразительности, живописности и прочихъ стилистическихъ качествъ, создающихъ иногда времененную эфемерную жизнь „талантливыхъ“ произведеній; мало для этого и идеиности, выраженія добрыхъ чувствъ и хорошихъ мыслей. Созданія темныхъ вѣковъ живутъ иногда

долго. Почему? Потому что они обладают той обобщающей силой, которая дѣлает синекдоху, метафору, независимо от конкретного содержания образа, важным орудием приведенія въ порядокъ разрозненныхъ впечатлѣній съ наименьшей затратой энергіи.

Красивое образное слово есть прежде всего мѣткое слово; оно сопровождается эстетическимъ удовольствиемъ, пріятнымъ чувствомъ легкости работы мысли и вмѣстѣ съ тѣмъ накопленія ея энергіи. Точно также и для сложныхъ поэтическихъ произведений недостаточно одной образности, конкретности, яркости; въ противномъ случаѣ яркія сновидѣнія были бы настоящимъ художественнымъ творчествомъ. Въ процессѣ созданія образнаго, нового слова и въ процессѣ пользованія готовымъ, созданнымъ поэтическимъ образомъ, простымъ и сложнымъ, мы можемъ наблюдать собственно два типа поэтической иносказательности—синекдохичность (типичность) и метафоричность. Мы можемъ назвать послѣднюю иносказательностью въ узкомъ смыслѣ, въ отличіе отъ иносказательности въ широкомъ смыслѣ—типичности. Всякое поэтическое произведеніе, или лучше, всякий процессъ образнаго поэтическаго мышленія въ концѣ концовъ сводится къ синекдохѣ, типичности, замѣнѣ сложнаго безконечнаго единичнымъ. Метафорическая басня въ тоже время есть сложная синекдоха, изображеніе типичнаго случая. Всякое сложное поэтическое произведеніе, какова бы ни была его иносказательность, является сложной метониміей, замѣненіемъ ощущенія дѣйствительности, отвлечеными отъ этой дѣйствительности образами, освобождая напы психику отъ той напряженности чувствъ, какою сопровождается созерцаніе этой дѣйствительности, избавляя нась отъ лишней траты энергіи и вмѣстѣ съ тѣмъ накопляя эту энергію.

При такой точкѣ зрѣнія на поэтическое творчество отдѣльныхъ лицъ, эпохъ, исторія художественной литературы, поэзіи въ широкомъ смыслѣ слова, представляется исторіей постепенного созданія поэтическихъ цѣнностей, а анализъ отдѣльныхъ произведений будетъ точнымъ подобіемъ этимологіи отдѣльного слова. Ростъ и развитіе національной литературы будетъ точнымъ подобіемъ роста и развитія національного языка. Только строгое проведеніе лингвистическихъ принциповъ даетъ опредѣленный характеръ исторіи литературы, состоящей до сихъ поръ на службѣ у другихъ гуманитарныхъ наукъ¹⁾.

B. Харціевъ.

¹⁾ Настоящій бѣглый очеркъ есть слабая попытка изложить въ самыхъ общихъ чертахъ основы небольшой части той работы, которая осталась въ черновыхъ наброскахъ А. А. Потебни, напечатанныхъ въ посмертномъ изданіи подъ заглавіемъ: „Изъ записокъ по теоріи словесности. Поззія и проза. Тропы и фигуры. Мышеніе поэтическое и миѳическое“. Тяжелая условія редактированія этихъ черновыхъ набросковъ сказались и на характерѣ всего изданія. Требовалось, въ силу понятнаго благоговѣнія уваженія къ памяти покойнаго, стереотипное воспроизведеніе чернового материала, безъ малѣйшаго внесенія поправокъ естественныхъ описокъ, измѣненія текста конспективныхъ замѣтокъ, пополненія недомолвокъ. Книга стала недоступной широкому кругу читателей. 20 лѣтъ исполнится скоро со дня кончины знаменитаго русскаго филолога, 20 лѣтъ его книга ждеть переработки, достойной блестящихъ идей, лежащихъ подъ спудомъ. Есть страницы въ этой книгѣ, разворачивающіяся въ цѣлый изслѣдованія, есть вопросы и заданія, обѣщающія великую награду пытливому уму. Авторъ питаетъ скромную надежду вызвать интересъ къ мыслямъ великаго ученаго, остающимся до сихъ поръ, благодаря независящимъ обстоятельствамъ, достояніемъ ограниченаго круга лицъ.

B. X.